В. Г. БѢЛИНСКІЙ.

ИЗБРАННЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

Н. В. ГОГОЛЬ.



ПЕТЕРБУРГЪ.
1919.

~~Л1825~~

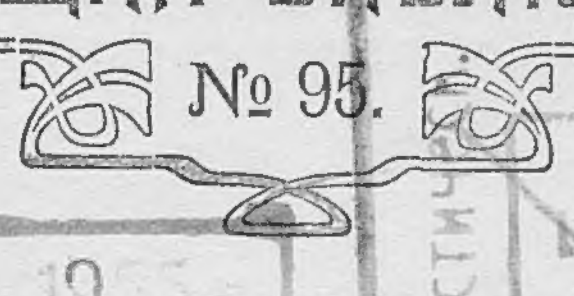
…АНИЕ РЕШЕНИЙ, С…

…в. Плен. У…

…ания с…

о па…





В. Г. БѢЛИНСКІЙ.

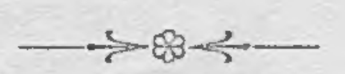
Избранныя сочиненія.

IV.

Н. В. ГОГОЛЬ.

Классное изданіе
подъ редакціей
В. Никольскаго.





1911.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Акц. Общ. Типогр. Дѣла въ СПб.,
7 рота, д. 26.

ИЗБРАННЫЯ СОЧИНЕНІЯ
В. Г. Бѣлинскаго
въ изданіи „Всеобщей Библіотеки".

I. О поэзіи (съ портретомъ автора). № 91.—10 коп.
II. Русская литература отъ Ломоносова до Пушкина. № 92.—10 коп.
III. А. С. Пушкинъ. № 93, 94.—20 коп.
IV. Н. В. Гоголь. № 95.—10 коп.
V. М. Ю. Лермонтовъ. № 96, 97.—20 коп.
VI. Новая русская литература. № 98.—10 коп.

Всѣ восемь выпусковъ въ одномъ мягкомъ коленкоровомъ переплетѣ 90 коп.



Типографія Акц. О-ва Тип. Дѣла въ СПб. (Герольдъ), Изм. п., 7 рота, 26.



Н. В. ГОГОЛЬ.

Значеніе Гоголя въ исторіи русской литературы.

Со времени выхода въ свѣтъ «Миргорода» и «Ревизора» русская литература приняла совершенно новое направленіе. Можно сказать безъ преувеличенія, что Гоголь сдѣлалъ въ русской романической прозѣ такой-же переворотъ, какъ Пушкинъ въ поэзіи. Тутъ дѣло идетъ не о стилистикѣ, и мы первые признаемъ охотно справедливость многихъ нападокъ литературныхъ противниковъ Гоголя на его языкъ, часто небрежный и неправильный. Нѣтъ, здѣсь дѣло идетъ о двухъ болѣе важныхъ вопросахъ: о слогѣ и созданіи. Къ достоинствамъ языка принадлежатъ только правильность, чистота, плавность, чего достигаетъ даже самая пошлая бездарность путемъ рутины и труда. Но слогъ это — самъ талантъ, сама мысль. Слогъ — это рельефность, осязаемость мысли, въ слогѣ весь человѣкъ; слогъ всегда оригиналенъ какъ личность, какъ характеръ. Поэтому у всякаго великаго писателя свой слогъ; слога нельзя раздѣлить на три рода — высокій, средній и низкій: слогъ дѣлится на столько родовъ, сколько есть на свѣтѣ великихъ или по крайней мѣрѣ сильно даровитыхъ писателей. По почерку узнаютъ руку человѣка и на почеркѣ основываютъ достовѣрность собственноручной подписи человѣка; по слогу узнаютъ великаго писателя, какъ по кисти — картину великаго живописца. Тайна слога заключается въ умѣньи до того ярко и выпукло излагать мысли, что онѣ кажутся какъ будто нарисованными,

изваянными изъ мрамора. Если у писателя нѣтъ никакого слога, онъ можетъ писать самымъ превосходнымъ языкомъ, и все-таки неопредѣленность и — ея необходимое слѣдствіе — многословіе будутъ придавать его сочиненію характеръ болтовни, которая утомляетъ при чтеніи и тотчасъ забывается по прочтеніи. Если у писателя есть слогъ, его эпитетъ рѣзко опредѣлителенъ, всякое слово стоитъ на своемъ мѣстѣ, и въ немногихъ словахъ схватывается мысль, по объему своему требующая многихъ словъ. Дайте обыкновенному переводчику перевести сочиненіе иностраннаго писателя, имѣющаго слогъ: вы увидите, что онъ своимъ переводомъ расплодитъ подлинникъ, не передавъ ни его силы, ни опредѣленности. Гоголь вполнѣ владѣетъ слогомъ. Онъ не пишетъ, а рисуетъ; его фраза, какъ живая картина, мечется въ глаза читателю, поражая его своей яркой вѣрностью природѣ и дѣйствительности.

Гоголь убилъ два ложныя направленія въ русской литературѣ: натянутый, на ходуляхъ стоящій идеализмъ, махающій мечомъ картоннымъ, подобно разрумяненному актеру, и потомъ — сатирическій дидактизмъ. Марлинскій пустилъ въ ходъ эти ложные характеры, исполненные не силы страстей, а кривляній поддѣльнаго байронизма; всѣ принялись рисовать то Карловъ Мооровъ въ черкесской буркѣ, то Лировъ и Чайльдъ-Гарольдовъ въ канцелярскомъ вицъ-мундирѣ. Можно было подумать, что Россія отличается отъ Италіи и Испаніи только языкомъ, а отнюдь не цивилизаціей, не нравами, не характеромъ. Никому въ голову не приходило, что ни въ Италіи, ни въ Испаніи люди не кривляются, не говорятъ изысканными фразами и не безпрестанно рѣжутъ другъ друга ножами и кинжалами, сопровождая эту рѣзню высокопарными монологами. Презрѣніе къ простымъ чадамъ земли дошло до послѣдней степени. У кого не было колоссальнаго

характера, кто мирно служилъ въ департаментѣ или ловко сводилъ концы съ концами за секретарскимъ столомъ въ земскомъ или уѣздномъ судѣ, говорилъ просто, не читалъ стиховъ и поэзіи предпочиталъ существенность, тотъ уже не годился въ герои романа или повѣсти и неизбѣжно дѣлался добычей сатиры и нравоучительной цѣлью. И, Боже мой! какъ страшно бичевала эта сатира всѣхъ простыхъ, положительныхъ людей за то, что они не герои, не колоссальные характеры, а ничтожные пигмеи человѣчества. Она такъ безобразно отдѣлывала ихъ своей мочальной кистью, своими грязными красками, что они нисколько не походили на людей и были до того уродливы, что, глядя на нихъ, уже никто не рѣшался брать взятокъ, ни предаваться пьянству, плутовству и пр. Прошло это время — и общество, которое такъ хорошо уживалось съ такой литературой, теперь часто ссорится съ ней, говоря: какъ можно писать то-то, выставлять это-то, выдумывать такое-то, — и многіе изъ этого общества чуть не со слезами на глазахъ клянутся, что ничего не бываетъ, напримѣръ, подобнаго тому, что̀ выставлено въ «Ревизорѣ», что все это ложь, выдумка, злая «критика», что это обидно, безнравственно и проч. И всѣ, довольные и недовольные «Ревизоромъ», знаютъ чуть не наизусть эту комедію Гоголя... Такое противорѣчіе стоитъ того, чтобъ обратить на него вниманіе.

Сатира — ложный родъ. Она можетъ смѣшить, если умна и ловка, но смѣшить, какъ остроумная каррикатура, набросанная на бумагѣ карандашемъ даровитаго рисовальщика. Романъ и повѣсть выше сатиры. Ихъ цѣль — изображать вѣрно, а не каррикатурно, не преувеличенно. Произведенія искусства, они должны не смѣшить, не поучать, а развивать истину творчески вѣрнымъ изображеніемъ дѣйствительности. Не ихъ дѣло разсуждать, напримѣръ, объ отеческой власти и сыновнемъ повиновеніи: ихъ

дѣло — представить или норму истинныхъ семейственныхъ отношеній, основанныхъ на любви, на общемъ стремленіи ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимномъ уваженіи къ своему человѣческому достоинству, къ своимъ человѣческимъ правамъ; или изобразить уклоненіе отъ этой нормы — произволъ отеческой власти, для корыстныхъ разсчетовъ истребляющей въ дѣтяхъ любовь къ истинѣ и добру, и необходимое слѣдствіе этого — нравственное искаженіе дѣтей, ихъ неуваженіе, неблагодарность къ родителямъ. Если ваша картина будетъ вѣрна — ее поймутъ безъ вашихъ разсужденій. Вы были только художникомъ и хлопотали изъ того, чтобъ нарисовать возникшую въ вашей фантазіи картину, какъ осуществленіе возможности, скрывавшейся въ самой дѣйствительности; и кто ни посмотритъ на эту картину, всякій, пораженный ея истинностью, и лучше почувствуетъ и сознáетъ самъ все то, что̀ вы стали-бы толковать и чего-бы никто не хотѣлъ отъ васъ слушать... Только берите содержаніе для вашихъ картинъ въ окружающей васъ дѣйствительности и не украшайте, не перестраивайте ея, а изображайте такой, какова она есть на самомъ дѣлѣ, да смотрите на нее глазами живой современности, а не сквозь закоптѣлыя очки морали, которая была истинна во время о̀но, а теперь превратилась въ общія мѣста, многими повторяемыя, но уже никого не убѣждающія... Идеалы скрываются въ дѣйствительности; они — не произвольная игра фантазіи, не выдумки, не мечты; и въ то-же время идеалы — не списокъ съ дѣйствительности, а угаданная умомъ и воспроизведенная фантазіей возможность того или другого явленія. Фантазія есть только одна изъ главнѣйшихъ способностей, условливающихъ поэта; но она одна не составляетъ поэта: ему нуженъ еще глубокій умъ, открывающій идею въ фактѣ, общее значеніе въ частномъ явленіи. Поэты, которые опи-

раются на одну фантазію, всегда ищутъ содержанія своихъ произведеній за тридевять земель въ тридесятомъ царствѣ или въ отдаленной древности; поэты, вмѣстѣ съ творческой фантазіей обладающіе и глубокимъ умомъ, находятъ свои идеалы вокругъ себя. И люди дивятся, какъ можно съ такими малыми средствами сдѣлать такъ много, изъ такихъ простыхъ матеріаловъ построить такое прекрасное зданіе...

Этой творческой фантазіей и этимъ глубокимъ умомъ обладаетъ въ замѣчательной степени Гоголь. Подъ его перомъ старое становится новымъ, обыкновенное — изящнымъ и поэтическимъ. Поэтъ національный, болѣе нежели кто-нибудь изъ нашихъ поэтовъ, всѣми читаемый, всѣмъ извѣстный, Гоголь все-таки не высоко стоитъ въ сознаніи нашей публики. Это противорѣчіе очень естественно и очень понятно. Комизмъ, юморъ, иронія — не всѣмъ доступны, и все, что̀ возбуждаетъ смѣхъ, обыкновенно считается у большинства ниже того, что̀ возбуждаетъ восторгъ возвышенный. Всякому легче понять идею, прямо и положительно выговариваемую, нежели идею, которая заключаетъ въ себѣ смыслъ противоположный тому, который выражаютъ слова ея. Комедія — цвѣтъ цивилизаціи, плодъ развившейся общественности. Чтобъ понимать комическое, надо стоять на высокой степени образованности. Аристофанъ былъ послѣднимъ великимъ поэтомъ древней Греціи. Толпѣ доступенъ только внѣшній комизмъ: она не понимаетъ, что есть точки, гдѣ комическое сходится съ трагическимъ и возбуждаетъ уже не легкій и радостный, а болѣзненный и горькій смѣхъ. Умирая, Августъ, повелитель полуміра, говорилъ своимъ приближеннымъ: «Комедія кончилась; кажется, я хорошо сыгралъ свою роль — рукоплещите-же, друзья мои!». Въ этихъ словахъ глубокій смыслъ: въ нихъ высказалась иронія уже не частной, а исторической жизни... И толпа ни-

когда не пойметъ такой ироніи. Такимъ образомъ поэтъ, который возбуждаетъ въ читателѣ созерцаніе высокаго и прекраснаго и тоску по идеалѣ изображаніемъ низкаго и пошлаго жизни, въ глазахъ толпы никогда не можетъ казаться жрецомъ того-же самаго изящнаго, которому служатъ и поэты, изображавшіе великое жизни. Ей всегда будетъ видѣться жартъ*) въ его глубокомъ юморѣ, и смотря на вѣрно воспроизведенныя явленія пошлой ежедневности она не видитъ изъ-за нихъ незримо-присутствующіе тутъ-же свѣтлые образы**).

* *
*

Гоголь создалъ типы — Ивана Өедоровича Шпоньки, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, Хлестакова, Городничаго, Бобчинскаго и Добчинскаго, Земляники, Шпекина, Тяпкина-Ляпкина, Чичикова, Манилова, Коробочки, Плюшкина, Собакевича, Ноздрева и многіе другіе. Въ нихъ онъ является великимъ живописцемъ пошлости жизни, который видитъ насквозь свой предметъ во всей его глубинѣ и широтѣ и схватываетъ его во всей полнотѣ и цѣлости его дѣйствительности. Но зачѣмъ-же забываютъ, что тотъ-же Гоголь написалъ «Тараса Бульбу», — поэму, герой и второстепенныя дѣйствующія лица которой — характеры высоко-трагическіе? И между тѣмъ видно, что поэма эта писана той-же рукой, которой писаны «Ревизоръ» и «Мертвыя Души». Въ ней является та особенность, которая принадлежитъ только таланту Гоголя. Въ драмахъ Шекспира встрѣчаются съ великими личностями и пошлыя, но комизмъ у него всегда на сторонѣ только по-

*) По-малорусски «жартъ» значитъ веселая шутка, нѣчто вродѣ фарса.

**) Изъ статьи «Русская литература въ 1843 г.»

слѣднихъ; его Фальстафъ смѣшонъ, а принцъ Генрихъ и потомъ король Генрихъ V — вовсе не смѣшонъ. У Гоголя Тарасъ Бульба такъ-же исполненъ комизма, какъ и трагическаго величія; оба эти противоположные элементы слились въ немъ неразрывно и цѣлостно въ единую, замкнутую въ себя, личность; вы и удивляетесь ему, и ужасаетесь его, и смѣетесь надъ нимъ. Изъ всѣхъ извѣстныхъ произведеній европейскихъ литературъ примѣръ подобнаго, и то не вполнѣ, слiянія серьезнаго и смѣшного, трагическаго и комическаго, ничтожности и пошлости жизни со всѣмъ, что̀ есть въ ней великаго и прекраснаго, представляетъ только «Донъ-Кихотъ» Сервантеса. Если въ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголь умѣлъ въ трагическомъ открыть комическое, то въ «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ» и «Шинели» онъ умѣлъ уже не въ комизмѣ, а въ положительной пошлости жизни найти трагическое. Вотъ гдѣ, намъ кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя. Это — не одинъ даръ выставлять ярко пошлость жизни, а еще болѣе — даръ выставлять явленія жизни во всей полнотѣ ихъ реальности и ихъ истинности. Въ «Перепискѣ» Гоголя есть одно мѣсто, которое бросаетъ яркій свѣтъ на значеніе и особенность его таланта, и которое было или ложно понято, или оставлено безъ вниманія:

«Эти ничтожные люди (въ «Мертвыхъ Душахъ») однакожъ ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумѣется, только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты; тутъ, кромѣ моихъ собственныхъ, есть даже черты моихъ пріятелей». Дѣйствительно, каждый изъ насъ, какой-бы онъ ни былъ хорошій человѣкъ, если вникнетъ въ себя съ тѣмъ безпристрастіемъ, съ какимъ вникаетъ въ другихъ, — то непремѣнно найдетъ въ себѣ въ бо̀льшей или меньшей степени

многіе изъ элементовъ многихъ героевъ Гоголя. И кому не случалось встрѣчать людей, которые немножко скупеньки, какъ говорится, прижимисты, а во всѣхъ другихъ отношеніяхъ — прекраснѣйшіе люди, одаренные замѣчательнымъ умомъ, горячимъ сердцемъ? Они готовы на все доброе, они не оставятъ человѣка въ нуждѣ, помогутъ ему, но только подумавши, поразсчитавши, съ нѣкоторымъ усиліемъ надъ собой. Такой человѣкъ, разумѣется, не Плюшкинъ, но съ возможностью сдѣлаться имъ, если поддастся вліянію этого элемента, и если при этомъ стеченіе враждебныхъ обстоятельствъ разовьетъ его и дастъ ему перевѣсъ надъ всѣми другими склонностями, инстинктами и влеченіями. Бываютъ люди съ умомъ, душой, образованіемъ, познаніями, блестящими дарованіями — и при всемъ этомъ съ тѣмъ качествомъ, которое теперь извѣстно на Руси подъ именемъ «хлестаковства». Скажемъ больше: многіе-ли изъ насъ, положа руку на сердце, могутъ сказать, что имъ не случалось быть Хлестаковыми, кому цѣлые года своей жизни (особенно молодости), кому хоть одинъ день, одинъ вечеръ, одну минуту? Порядочный человѣкъ не тѣмъ отличается отъ пошлаго, чтобы онъ былъ вовсе чуждъ всякой пошлости, а тѣмъ, что видитъ и знаетъ, что̀ въ немъ есть пошлаго, тогда какъ пошлый человѣкъ и не подозрѣваетъ этого въ отношеніи къ себѣ; напротивъ, ему-то и кажется больше всѣхъ, что онъ — истинное совершенство. Здѣсь мы опять видимъ подтвержденіе вышесказанной нами мысли объ особенности таланта Гоголя, которая состоитъ не въ исключительномъ только дарѣ живописать ярко пошлость жизни, а проникать въ полноту и реальность явленій жизни. Онъ, по натурѣ своей, не склоненъ къ идеализаціи, онъ не вѣритъ ей; она кажется ему отвлеченіемъ, а не дѣйствительностью; въ дѣйствительности для него добро и зло, достоинство и пошлость не раздѣльны, а только

перемѣшаны не въ равныхъ доляхъ. Ему дался не пошлый человѣкъ, а человѣкъ вообще, какъ онъ есть, не украшенный и не идеализированный *).

Повѣсти.

Вечера на хуторѣ близъ Диканьки.—Вій.—Тарасъ Бульба.—Старосвѣтскіе помѣщики.—Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.—Невскій проспектъ.—Портретъ.—Записки сумасшедшаго.

Скажите, какое впечатлѣніе прежде всего производитъ на васъ каждая повѣсть Гоголя? Не заставляетъ-ли она васъ говорить: «Какъ все это просто, обыкновенно, естественно и вѣрно, и вмѣстѣ, какъ оригинально и ново!» Не удивляетесь-ли вы и тому, почему вамъ самимъ не пришла въ голову та-же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этихъ-же самыхъ лицъ, такъ обыкновенныхъ, такъ знакомыхъ вамъ, такъ часто видѣнныхъ вами, и окружить ихъ этими самыми обстоятельствами, такъ повседневными, такъ общими, такъ наскучившими вамъ въ жизни дѣйствительной и такъ занимательными, очаровательными въ поэтическомъ представленіи? Вотъ первый признакъ истинно-художественнаго произведенія. Потомъ не знакомитесь-ли вы съ каждымъ персонажемъ его повѣсти такъ коротко, какъ будто вы его давно знали, долго жили съ нимъ вмѣстѣ? Не дополняете-ли вы, своимъ воображеніемъ, его портрета, и безъ того уже нарисованнаго авторомъ во весь ростъ? Не въ состояніи-ли прибавить къ нему новыя черты, какъ

*) Изъ статьи «Отвѣтъ Москвитянину», защищающей Гоголя отъ нападокъ со стороны представителей такъ-называемой «риторической школы».

будто забытыя авторомъ, не въ состояніи-ли вы разсказать объ этомъ лицѣ нѣсколько анекдотовъ, какъ будто-бы опущенныхъ авторомъ? Не вѣрите-ли вы на слово, не готовы-ли вы побожиться, что все разсказанное авторомъ есть сущая правда, безъ всякой примѣси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти созданія ознаменованы печатью истиннаго таланта, что они созданы по непреложнымъ законамъ творчества. Эта простота вымысла, эта нагота дѣйствія, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемыхъ авторомъ происшествій — суть вѣрные, необманчивые признаки творчества; это поэзія реальная, поэзія жизни дѣйствительной, жизни, коротко знакомой намъ. Я ни мало не удивлюсь, подобно нѣкоторымъ, что Гоголь мастеръ дѣлать все изъ ничего, что онъ умѣетъ заинтересовать читателя пустыми, ничтожными подробностями, ибо не вижу тутъ ровно никакого умѣнья: умѣнье предполагаетъ разсчетъ и работу, а гдѣ разсчетъ и работа, тамъ нѣтъ творчества, тамъ все ложно и невѣрно при самой тщательной и вѣрной копировкѣ съ дѣйствительности. И чѣмъ обыкновеннѣе, чѣмъ пошлѣе, такъ сказать, содержаніе повѣсти, слишкомъ заинтересовывающей вниманіе читателя, тѣмъ большій талантъ со стороны автора обнаруживаетъ она. Когда посредственный талантъ берется рисовать сильныя страсти, глубокіе характеры, онъ можетъ стать на дыбы, натянуться, наговорить громкихъ монологовъ, насказать прекрасныхъ вещей, обмануть читателя блестящей отдѣлкой, красивыми формами, самымъ содержаніемъ, мастерскимъ разсказомъ, цвѣтистой фразеологіей — плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возьмись онъ за изображеніе повседневныхъ картинъ жизни, жизни обыкновенной, прозаической — о, повѣрьте, для него это будетъ истиннымъ камнемъ преткновенія, и его вялое, холодное и бездушное сочиненіе уморитъ васъ

зѣвотой. Въ самомъ дѣлѣ, заставить насъ принять живѣйшее участіе въ ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, насмѣшить насъ до слезъ глупостями, ничтожностью и юродствомъ этихъ живыхъ пасквилей на человѣчество — это удивительно; но заставить насъ потомъ пожалѣть объ этихъ идіотахъ, пожалѣть отъ всей души, заставить насъ разстаться съ ними съ какимъ-то глубоко-грустнымъ чувствомъ, заставить насъ воскликнуть вмѣстѣ съ собою: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» вотъ, вотъ оно, то божественное искусство, которое называется творчествомъ; вотъ онъ, художническій талантъ, для котораго гдѣ жизнь, тамъ и поэзія! И возьмите почти всѣ повѣсти Гоголя: какой отличительный характеръ ихъ? что такое почти каждая изъ его повѣстей? Смѣшная комедія, которая начинается глупостями и оканчивается слезами, и которая наконецъ называется жизнью. И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно! И такова жизнь наша: сначала смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи, сколько истины!...

Въ каждомъ человѣкѣ должно различать двѣ стороны: общую человѣческую и частную, индивидуальную; всякій человѣкъ прежде всего человѣкъ, и потомъ уже Иванъ, Сидоръ и т. д. Точно такъ-же и въ художественныхъ созданіяхъ должно различать два характера: характеръ творчества, общій всѣмъ изящнымъ произведеніямъ, и характеръ колорита, сообщенный индивидуальностью автора. Я уже коснулся, въ общихъ чертахъ, перваго характера въ повѣстяхъ Гоголя; теперь разсмотрю его подробнѣе; потомъ буду говорить объ индивидуальномъ характерѣ его созданій и наконецъ заключу мою статью бѣглымъ взглядомъ на тѣ изъ его повѣстей, о которыхъ можно будетъ сказать что-нибудь въ частности.

Я уже сказалъ, что отличительныя черты харак-

тера произведеній Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность — все это черты общія; потомъ комическое одушевленіе, всегда побѣждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія — черта индивидуальная.

Простота вымысла въ поэзіи реальной есть одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ признаковъ истинной поэзіи, истиннаго и притомъ зрѣлаго таланта. Возьмите любую драму Шекспира, возьмите, напримѣръ, его «Тимона Аѳинскаго»: эта пьеса такъ проста, такъ немногосложна, такъ скудна путаницей происшествій, что, право, невозможно и разсказать ея содержанія. Люди обманули человѣка, который любилъ людей, наругались надъ его святыми чувствованіями, лишили его вѣры въ человѣческое достоинство, и этотъ человѣкъ возненавидѣлъ людей и проклялъ ихъ; вотъ вамъ и все тутъ, больше ничего нѣтъ. И что-жъ? Составили-ли вы себѣ, по моимъ словамъ какое-нибудь понятіе объ этомъ великомъ созданіи великаго генія? О, вѣрно, никакого! ибо эта идея слишкомъ обыкновенна, слишкомъ извѣстна всѣмъ, каждому, слишкомъ истерта и истрепана въ тысячахъ сочиненій хорошихъ и дурныхъ, начиная отъ Софоклова Филоктета, обманутаго Уллисомъ и проклинающаго человѣчество, до Тихона Михеевича, обманутаго вѣроломной женой и плутомъ-родственникомъ *). Но форма, въ которой выражена эта идея, но содержаніе пьесы и ея подробности? Послѣднія такъ мелочны, такъ пусты и притомъ такъ всякому извѣстны, что я наскучилъ-бы вамъ смертельно, если-бы вздумалъ ихъ пересказывать. И однакожъ у Шекспира эти подробности такъ занимательны, что вы не оторветесь отъ нихъ, и однакожъ у него мелочность и пустота этихъ подробностей приготовляютъ ужасную катастрофу, отъ которой волосы

*) «Піюша», повѣсть Ушакова, въ «Библіотекѣ для чтенія». *Прим. Бѣлинскаго.*

встаютъ дыбомъ, — сцену въ лѣсу, гдѣ Тимонъ въ бѣшеныхъ проклятіяхъ, въ горькихъ, язвительныхъ сарказмахъ, съ сосредоточенной спокойной яростью, разсчитывается съ человѣчествомъ. И потомъ, какъ выразить вамъ это чувство, которое возбуждаетъ въ душѣ извѣстіе о смерти добровольнаго отверженца отъ людей. И вся эта ужасная, хотя и безкровная, трагедія, ужасная даже въ своей простотѣ, въ своемъ спокойствіи, приготовляется глупой комедіей, отвратительной картиной, какъ люди обжираютъ человѣка, помогаютъ ему разориться и потомъ забываютъ о немъ, эти люди, которые

Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей!

И вотъ вамъ жизнь или, лучше сказать, прототипъ жизни, созданный величайшимъ изъ поэтовъ! Тутъ нѣтъ эффектовъ, нѣтъ сценъ, нѣтъ драматическихъ вычуръ, все просто и обыкновенно, какъ день мужика, который въ будень ѣстъ и пашетъ, спитъ и пашетъ, а въ праздникъ ѣстъ, пьетъ и напивается пьянъ. Но въ томъ-то и состоитъ задача реальной поэзіи, чтобы извлекать поэзію жизни изъ прозы жизни и потрясать души вѣрнымъ изображеніемъ этой жизни. И какъ сильна и глубока поэзія Гоголя въ своей наружной простотѣ и мелкости! Возьмите его «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ»: что въ нихъ? Двѣ пародіи на человѣчество, въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ пьютъ и ѣдятъ, ѣдятъ и пьютъ, а потомъ, какъ водится изстари, умираютъ. Но отчего-же это очарованіе? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тѣмъ принимаете такое участіе въ персонажахъ повѣсти, смѣетесь надъ ними, но безъ злости, и потомъ

рыдаете съ Филемономъ о его Бавкидѣ, сострадаете его глубокой, неземной горести, и сердитесь на негодяя-наслѣдника, промотавшаго достояніе двухъ простаковъ. И потомъ вы такъ живо представляете себѣ актеровъ этой глупой комедіи, такъ ясно видите всю ихъ жизнь, вы, который можетъ быть никогда не бывалъ въ Малороссіи, никогда не видалъ такихъ картинъ и не слыхалъ о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и слѣдовательно очень вѣрно; оттого, что авторъ нашелъ поэзію, и въ этой пошлой и нелѣпой жизни нашелъ человѣческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героевъ: это чувство — привычка. Знаете-ли вы, что̀ такое привычка, это странное чувство, о которомъ Пушкинъ сказалъ:

Привычка небомъ намъ дана,
Замѣна счастія она?

Можете-ли вы предположить возможность мужа, который рыдаетъ надъ гробомъ своей жены, съ которой сорокъ лѣтъ грызся, какъ кошка съ собакой? Понимаете-ли вы, что можно грустить о дурной квартирѣ, въ которой вы жили много лѣтъ, къ которой вы привыкли, какъ душа къ тѣлу, и съ которой у васъ соединяются воспоминанія о простой однообразной жизни, о живомъ трудѣ и сладкомъ досугѣ и можетъ быть о нѣсколькихъ сценахъ любви и наслажденія, и которую вы мѣняете на великолѣпныя палаты? Понимаете-ли вы, что можно грустить о собакѣ, которая десять лѣтъ сидѣла на цѣпи и десять лѣтъ вертѣла хвостомъ, когда вы мимо ея проходили?... О, привычка великая психологическая задача, великое таинство души человѣческой. Холодному сыну земли, сыну заботъ и помысловъ житейскихъ замѣняетъ она чувства человѣческія, которыхъ лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный даръ Провидѣнія,

единственный источникъ его радостей и (дивное дѣло!) радостей человѣческихъ! Но что она для человѣка въ полномъ смыслѣ этого слова? Не насмѣшка-ли судьбы? И онъ платитъ ей свою дань, и онъ прилѣпляется къ пустымъ вещамъ и пустымъ людямъ, и горько страдаетъ, лишаясь ихъ! И что-же еще? Гоголь сравниваетъ ваше глубокое человѣческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть, съ чувствомъ привычки жалкаго получеловѣка, и говоритъ, что его чувство привычки сильнѣе, глубже и продолжительнѣе вашей страсти, и вы стоите передъ нимъ, потупя глаза и не зная, что отвѣчать, какъ ученикъ, не знающій урока, передъ своимъ учителемъ! Такъ вотъ гдѣ часто скрываются пружины лучшихъ нашихъ дѣйствій, прекраснѣйшихъ нашихъ чувствъ! О, бѣдное человѣчество! жалкая жизнь! И однакожъ вамъ все-таки жаль Афанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны! вы плачете о нихъ, — о нихъ, которые только пили и ѣли и потомъ умерли! О, Гоголь истинный чародѣй, и вы не можете представить, какъ я сердитъ на него за то, что онъ и меня чуть не заставилъ плакать о нихъ, которые только пили и ѣли и потомъ умерли!

Совершенная истина жизни въ повѣстяхъ Гоголя тѣсно соединяется съ простотой вымысла. Онъ не льститъ жизни, но и не клевещетъ на нее: онъ радъ выставить наружу все, что въ ней есть прекраснаго, человѣческаго, и въ то-же время не скрываетъ ни мало и ея безобразія. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ вѣренъ жизни до послѣдней степени. Она у него настоящій портретъ, въ которомъ все схвачено съ удивительнымъ сходствомъ, начиная отъ экспрессіи оригинала до веснушекъ лица его; начиная отъ гардероба Ивана Никифоровича до русскихъ мужиковъ, идущихъ по Невскому проспекту, въ сапогахъ, запачканныхъ известью; отъ колоссальной физіономіи богатыря Бульбы, ко-

торый не боялся ничего въ свѣтѣ, съ люлькой въ зубахъ и саблей въ рукахъ, до стоическаго философа Хомы, который не боялся ничего въ свѣтѣ, даже чертей и вѣдьмъ, когда у него люлька въ зубахъ и рюмка въ рукахъ.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни. Это его любимое кушанье. Какъ только отобѣдаетъ и выйдетъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсъ, сейчасъ приказываетъ Гапкѣ принести двѣ дыни. И уже самъ разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начинаетъ кушать. Потомъ велитъ принести Гапкѣ чернильницу, и самъ, собственною рукою, сдѣлаетъ надпись надъ бумажкой съ сѣменами: «сія дыня съѣдена такого-то числа». Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то: «участвовалъ такой-то...» Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любитъ купаться, и когда сядетъ по горло въ воду, велитъ поставить такъ же въ воду столъ и самоваръ, и очень любитъ пить чай въ такой прохладѣ.

Скажите, Бога ради, можно-ли язвительнѣе, злобнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ добродушнѣе и любезнѣе наругаться надъ бѣднымъ человѣчествомъ?... И все оттого, что слишкомъ вѣрно! А вотъ посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды:

Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу ты, но всегда вы: вы, Аѳанасій Ивановичъ, вы, Пульхерія Ивановна. — Это вы продавили стулъ, Аѳанасій Ивановичъ? — Ничего, не сердитесь, Пульхерія Ивановна: это я... Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ возвращался въ покои и говорилъ, приблизившись къ Пульхеріи Ивановнѣ: «А что, Пульхерія Ивановна, можетъ быть, пора закусить чего-нибудь?» — «Чего же бы теперь закусить, Аѳанасій Ивановичъ? развѣ коржиковъ съ саломъ, или пирожковъ съ макомъ, или можетъ быть рыжиковъ соленыхъ?» — «Пожалуй хоть и рыжиковъ или пирожковъ», — отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ, и на столѣ вдругъ являлась скатерть съ пирожками и рыжиками. За часъ до обѣда Аѳанасій Ивановичъ закусывалъ снова, выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заѣдалъ грибками, разными сушеными рыбками

и прочимъ. Обѣдать садились въ двѣнадцать часовъ. За обѣдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ обѣду. «Мнѣ кажется, будто это каша, говаривалъ обыкновенно Аѳанасій Ивановичъ: немного пригорѣла, вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?» — «Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ, вы положите побольше масла, тогда она не будетъ пригорѣлой, или вотъ возьмите этого соуса съ грибами и подлейте къ ней». — «Пожалуй, говорилъ Аѳанасій Ивановичъ и подставлялъ свою тарелку: — попробуемъ, какъ оно будетъ...» — «Вотъ попробуйте, Аѳанасій Ивановичъ, какой хорошій арбузъ». — «Да вы не вѣрьте, Пульхерія Ивановна, что онъ красный, говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, принимая порядочный ломоть:— бываетъ, что и красный, да не хорошій».

Замѣчаете-ли вы здѣсь всю тонкость Аѳанасія Ивановича, который хочетъ разными околичностями отвести глаза своей сожительницы отъ своего ужаснаго аппетита, котораго онъ какъ будто самъ стыдится? Но посмотримъ на его дальнѣйшіе подвиги.

Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ съѣдалъ нѣсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріей Ивановной. Пришедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ дѣламъ, а онъ садился подъ навѣсомъ... Немного погодя онъ посылалъ за Пульхеріей Ивановной и говорилъ: «Чего бы такого поѣсть мнѣ, Пульхерія Ивановна?» — «Чего же бы такого? говорила Пульхерія Ивановна: — развѣ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли вареииковъ съ ягодами, которыхъ приказала нарочно для вась оставить!» — «И то добре», отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ... «Или, можетъ быть, вы съѣли бы киселику?» — «И то хорошо», отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ. Послѣ чего все это немедленно было приносимо и, какъ водится, съѣдаемо. Передъ ужиномъ Аѳанасій Ивановичъ еще кое-что закусывалъ. Въ половинѣ десятаго садились ужинать... Ночью иногда Аѳанасій Ивановичъ, ходя по спальнѣ, стоналъ. Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Аѳанасій Ивановичъ?» — «Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна, такъ, какъ будто немного животъ болитъ», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ. «Можетъ быть,

вы бы чего-нибудь съѣли, Аѳанасій Ивановичъ?» — «Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна? Впрочемъ чего бы такого съѣсть?» — «Кислаго молочка или жиденькаго узвару съ сушенными грушами». — «Пожалуй, развѣ только попробовать», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ. Сонная дѣвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Аѳанасій Ивановичъ съѣдалъ тарелочку. Послѣ чего онъ обыкновенно говорилъ: «теперь такъ, какъ будто сдѣлалось легче».

Какъ вы думаете объ этомъ? По-моему, такъ въ этомъ очеркѣ весь человѣкъ, вся жизнь его, съ ея прошедшимъ, настоящимъ и будущимъ! А супружеская любовь двухъ старцевъ, а насмѣшечки Аѳанасія Ивановича надъ своей сожительницей касательно внезапнаго пожара въ ихъ домѣ или, что еще ужаснѣе, касательно его намѣренія идти на войну; страхъ доброй Пульхеріи Ивановны, ея возраженія, ея легкая досада, и наконецъ чувство самодовольствія, испытываемое Аѳанасіемъ Ивановичемъ при мысли, что ему удалось подшутить надъ своей дражайшей половиной! О, эти картины, эти черты — суть такіе драгоцѣнные перлы поэзіи, въ сравненіи съ которыми всѣ прекрасныя фразы нашихъ доморощенныхъ Бальзаковъ настоящій горохъ!... И все это не придумано, не списано съ разсказовъ или съ дѣйствительности, но угадано чувствомъ въ минуту поэтическаго откровенія! Если-бы я вздумалъ выписывать всѣ мѣста, доказывающія, что Гоголь уловилъ идею описываемой жизни и вѣрно воспроизвелъ ее, то мнѣ пришлось-бы списать почти всѣ его повѣсти, отъ слова до слова.

Повѣсти Гоголя народны въ высочайшей степени; но я не хочу слишкомъ распространяться объ ихъ народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условіе истинно-художественнаго произведенія, если подъ народностью должно разумѣть вѣрность изображенія нравовъ, обычаевъ и характера того или другого народа, той или другой страны.

Жизнь всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ формахъ, слѣдовательно, если изображеніе жизни вѣрно, то и народно. Народность, чтобы отразиться въ поэтическомъ произведеніи, не требуетъ такого глубокаго изученія со стороны художника, какъ обыкновенно думаютъ. Поэтому стоитъ только мимоходомъ взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена имъ. Какъ малороссу, Гоголю съ дѣтства знакома жизнь малороссійская, но народность его поэзіи не ограничивается одной Малороссіей. Въ его «Запискахъ Сумасшедшаго», въ его «Невскомъ проспектѣ» нѣтъ ни одного хохла, все русскіе и вдобавокъ еще нѣмцы; а каково изображены имъ эти русскіе и эти нѣмцы! Каковъ Шиллеръ и Гофманъ? Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что, право, пора-бы намъ перестать хлопотать о народности, такъ-же какъ пора-бы перестать писать, не имѣя таланта, ибо эта народность очень похожа на Тѣнь въ баснѣ Крылова; Гоголь о ней ни мало не думаетъ, и она сама напрашивается къ нему, тогда какъ многіе изъ всѣхъ силъ гоняются за нею и ловятъ — одну тривіальность.

Почти то-же самое можно сказать и объ оригинальности: какъ и народность, она есть необходимое условіе истиннаго таланта. Два человѣка могутъ сойтись въ заказной работѣ, но никогда въ творчествѣ, ибо если одно вдохновеніе не посѣщаетъ двухъ разъ одного человѣка, то еще менѣе одинаковое вдохновеніе можетъ посѣтить двухъ человѣкъ. Вотъ почему міръ творчества такъ неистощимъ и безграниченъ. Поэтъ никогда не скажетъ: «О чемъ мнѣ писать? ужъ все переписано!» или:

О боги, для чего я поздно такъ родился?

Одинъ изъ самыхъ отличительныхъ признаковъ творческой оригинальности или, лучше сказать, самаго творчества состоитъ въ томъ типизмѣ, если можно такъ выразиться, который есть гербовая

печать автора. У истиннаго таланта каждое лицо — типъ, и каждый типъ для читателя есть знакомый незнакомецъ. Не говорите: вотъ человѣкъ съ огромной душой, съ пылкими страстями, съ обширнымъ умомъ, но ограниченнымъ разсудкомъ, который до такого бѣшенства любитъ свою жену, что готовъ удавить ее руками при малѣйшемъ подозрѣніи въ невѣрности — скажите проще и короче: вотъ Отелло! Не говорите: вотъ человѣкъ, который глубоко понимаетъ назначеніе человѣка и цѣль жизни, который стремится дѣлать добро, но, лишенный энергіи души, не можетъ сдѣлать ни одного добраго дѣла и страдаетъ отъ сознанія своего безсилія, — скажите: вотъ Гамлетъ! Не говорите: вотъ чиновникъ, который подлъ по убѣжденію, зловреденъ благонамѣренно, преступенъ добросовѣстно — скажите: вотъ Фамусовъ! Не говорите: вотъ человѣкъ, который подличаетъ изъ выгодъ, подличаетъ безкорыстно, по одному влеченію души, — скажите: вотъ Молчалинъ! Не говорите: вотъ человѣкъ, который во всю жизнь не вѣдалъ ни одной человѣческой мысли, ни одного человѣческаго чувства, который во всю жизнь не зналъ, что у человѣка есть страданія и горести, кромѣ холода, безсонницы, клоповъ, блохъ, голода и жажды, есть восторги и радости, кромѣ спокойнаго сна, сытнаго стола, цвѣточнаго чаю; что въ жизни человѣка бываютъ случаи поважнѣе съѣденной дыни, что у него есть занятія и обязанности, кромѣ ежедневнаго осмотра своихъ сундуковъ, амбаровъ и хлѣвовъ, есть честолюбіе выше увѣренности, что онъ первая персона въ какомъ-нибудь захолустьѣ; о, не тратьте такъ много фразъ, такъ много словъ — скажите просто: вотъ Иванъ Ивановичъ Перерепенко, или: вотъ Иванъ Никифоровичъ Довгочхунъ! И повѣрьте, васъ скорѣе поймутъ всѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Онѣгинъ, Ленскій, Татьяна, Зарѣцкій, Репетиловъ, Хлестова, Тугоуховскій, Платонъ Михайловичъ Горичъ, княжна

Мими, Пульхерія Ивановна, Аѳанасій Ивановичъ, Шиллеръ, Пискаревъ, Пироговъ: развѣ всѣ эти собственныя имена теперь уже не нарицательныя? И, Боже мой, какъ много смысла заключаетъ въ себѣ каждое изъ нихъ! Это повѣсть, романъ, исторія, поэма, драма, многотомная книга, короче: цѣлый міръ въ одномъ, только одномъ словѣ! И какой мастеръ Гоголь выдумывать такія слова! не хочу говорить о тѣхъ, о которыхъ и такъ уже много говорилъ, скажу только объ одномъ такомъ его словечкѣ, это — Пироговъ!... Святители! да это цѣлая каста, цѣлый народъ, цѣлая нація! О, единственный, несравненный Пироговъ, типъ изъ типовъ, первообразъ изъ первообразовъ! Ты многообъемлющѣе, чѣмъ Шейлокъ, многозначительнѣе, чѣмъ Фаустъ! ты — представитель просвѣщенія и образованности всѣхъ людей, которые любятъ потолковать о литературѣ, хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ *). Да, господа, дивное словцо этотъ — Пироговъ! Это символъ, мистическій миѳъ, это наконецъ кафтанъ, который такъ чудно скроенъ, что придется по плечамъ тысячи человѣкъ! О, Гоголь большой мастеръ выдумывать такія слова, отпускать такія bons mots! А отчего онъ такой мастеръ на нихъ? Оттого, что оригиналенъ. А отчего оригиналенъ? Оттого, что поэтъ.

Но есть еще другая оригинальность, проистекающая изъ индивидуальности автора, слѣдствіе цвѣта очковъ, сквозь которыя смотритъ онъ на міръ. Такая оригинальность у Гоголя состоитъ, какъ я уже сказалъ выше, въ комическомъ одушевленіи, всегда побѣждаемомъ чувствомъ глубокой грусти.

---

*) Московскій писатель, именовавшій себя «народнымъ»; находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ Пушкинымъ и служилъ постоянною темою для критиковъ того времени.

Въ этомъ отношеніи русская поговорка: «началъ за здравіе, а свелъ за упокой» можетъ быть девизомъ его повѣстей. Въ самомъ дѣлѣ, какое чувство остается у насъ, когда пересмотрите вы всѣ эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ея наготѣ, во всемъ ея чудовищномъ безобразіи, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь надъ ней? Я уже говорилъ о «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ» — объ этой слезной комедіи во всемъ смыслѣ этого слова. Возьмите «Записки Сумасшедшаго», этотъ уродливый гротескъ, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмѣшку надъ жизнью и человѣкомъ, жалкой жизнью, жалкимъ человѣкомъ, эту каррикатуру, въ которой такая бездна поэзіи, такая бездна философіи, эту психическую исторію болѣзни, изложенную въ поэтической формѣ, удивительную по своей истинѣ и глубинѣ, достойную кисти Шекспира; вы еще смѣетесь надъ простакомъ, но уже вашъ смѣхъ растворенъ горечью: это смѣхъ надъ сумасшедшимъ, котораго бредъ и смѣшитъ, и возбуждаетъ состраданіе. Я уже говорилъ также и о «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» въ этомъ отношеніи; прибавлю еще, что съ этой стороны эта повѣсть всего удивительнѣе. Въ «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ» вы видите людей пустыхъ, ничтожныхъ и жалкихъ, но по крайней мѣрѣ добрыхъ и радушныхъ; ихъ взаимная любовь основана на одной привычкѣ; но вѣдь и привычка все-же человѣческое чувство, но вѣдь всякая любовь, всякая привязанность, на чемъ-бы она ни основывалась, достойна участія, слѣдовательно еще понятно, почему вы жалѣете объ этихъ старикахъ. Но Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ — существа совершенно пустыя, ничтожныя и притомъ нравственно гадкія и отвратительныя, ибо въ нихъ нѣтъ ничего человѣческаго; зачѣмъ-же, спрашиваю я васъ, зачѣмъ вы такъ горько улыбаетесь, такъ грустно вздыхаете, когда доходите до трагикомической раз-

вязки? Вотъ она, эта тайна поэзіи! вотъ онѣ, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видѣлъ жизнь, тотъ не можетъ не вздыхать!...

Комизмъ или юморъ Гоголя имѣетъ свой особенный характеръ: это юморъ чисто русскій, юморъ спокойный, простодушный, въ которомъ авторъ какъ-бы прикидывается простачкомъ. Гоголь съ важностью говоритъ о бекешѣ Ивана Ивановича, и иной простакъ не шутя подумаетъ, что авторъ и въ самомъ дѣлѣ въ отчаяніи оттого, что у него нѣтъ такой прекрасной бекеши. Да, Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишкомъ глупымъ, чтобы не понять его ироніи, но эта иронія чрезвычайно какъ идетъ къ нему. Впрочемъ это только манера, а истинный-то юморъ Гоголя все-таки состоитъ въ вѣрномъ взглядѣ на жизнь и, прибавлю еще, ни мало не зависитъ отъ каррикатурности представляемой имъ жизни. Онъ всегда одинаковъ, никогда не измѣняетъ себѣ, даже и въ такомъ случаѣ, когда увлекается поэзіей описываемаго имъ предмета. Безпристрастіе его идолъ. Доказательствомъ этого можетъ служить «Тарасъ Бульба», эта дивная эпопея, написанная кистью смѣлой и широкой, этотъ рѣзкій очеркъ героической жизни младенчествующаго народа, эта огромная картина въ тѣсныхъ рамкахъ, достойная Гомера. Бульба — герой, Бульба — человѣкъ съ желѣзнымъ характеромъ, желѣзной волей; описывая подвиги его кровавой мести, авторъ возвышается до лиризма и въ то-же время дѣлается драматикомъ въ высочайшей степени, и все это не мѣшаетъ ему по временамъ смѣшить васъ своимъ героемъ. Вы содрагаетесь Бульбы, хладнокровно лишающаго мать дѣтей, убивающаго собственной рукой родного сына, ужасаетесь его кровавыхъ тризнъ надъ гробомъ дѣтей, и вы-же смѣетесь надъ нимъ, дерущимся на кулачки съ своимъ сыномъ, пьющимъ горѣлку съ своими дѣтьми, радующимся, что въ этомъ

ремеслѣ они не уступаютъ батюшкѣ, и изъявляющимъ свое удовольствіе, что ихъ «добре пороли въ бурсѣ». И причина этого комизма, этой карриккатурности изображеній заключается не въ способности или направленіи автора находить во всемъ смѣшныя стороны, но въ вѣрности жизни. Если Гоголь часто и съ умысломъ подшучиваетъ надъ своими героями, то безъ злобы, безъ ненависти; онъ понимаетъ ихъ ничтожность, но не сердится на нее; онъ даже какъ будто любуется ею, какъ любуется взрослый человѣкъ на игры дѣтей, которыя для него смѣшны своей наивностью, но которыхъ онъ не имѣетъ желанія раздѣлить. Но тѣмъ не менѣе это все-таки юморъ, ибо не щадитъ ничтожества, не скрываетъ и не скрашиваетъ его безобразія, ибо, плѣняя изображеніемъ этого ничтожества, возбуждаетъ къ нему отвращеніе. Этотъ юморъ спокойный и, можетъ быть, тѣмъ скорѣе достигающій своей цѣли. И вотъ, замѣчу мимоходомъ, вотъ настоящая нравственность такого рода сочиненій. Здѣсь авторъ не позволяетъ себѣ никакихъ сентенцій, никакихъ нравоученій; онъ только рисуетъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и ему дѣла нѣтъ до того, каковы онѣ, и онъ рисуетъ ихъ безъ всякой цѣли, изъ одного удовольствія рисовать. Послѣ «Горя отъ ума» я не знаю ничего на русскомъ языкѣ, что̀-бы отличалось такой чистѣйшей нравственностью и что̀-бы могло имѣть сильнѣйшее и благороднѣйшее вліяніе на нравы, какъ повѣсти Гоголя. О, передъ такой нравственностью я всегда готовъ падать на колѣна! Въ самомъ дѣлѣ, кто поійметъ Ивана Ивановича Перерепенко, тотъ вѣрно разсердится, если его назовутъ Иваномъ Ивановичемъ Перерепенкомъ.

Нравственность въ сочиненіи должна состоять въ совершенномъ отсутствіи притязаній со стороны автора на нравственную или безнравственную цѣль. Факты говорятъ громче словъ; вѣрное изображеніе нравственнаго безобразія могущественнѣе всѣхъ вы-

ходокъ противъ него. Однакожъ не забудьте, что такія изображенія только тогда вѣрны, когда безцѣльны, когда созданы, а создавать можетъ одно вдохновеніе, а вдохновеніе можетъ быть доступно одному таланту, слѣдовательно, только одинъ талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ!

И такъ, юморъ Гоголя есть юморъ спокойный, спокойный въ самомъ своемъ негодованіи, добродушный въ самомъ своемъ лукавствѣ. Но въ творчествѣ есть еще другой юморъ — грозный и открытый; онъ кусаетъ до крови, впивается въ тѣло до костей, рубитъ со всего плеча, хлещетъ направо и налѣво своимъ бичомъ, свитымъ изъ шипящихъ змѣй, юморъ желчный, ядовитый, безпощадный.

Я не буду рѣшать, которому изъ этихъ двухъ видовъ юмора должно отдать преимущество. Вопросъ о подобномъ превосходствѣ былъ-бы такъ-же нелѣпъ, какъ вопросъ о превосходствѣ оды надъ элегіей, романа — надъ драмой, ибо изящное всегда равно самому себѣ, въ какихъ-бы видахъ ни проявлялось. Есть вещи, столь гадкія, что стоитъ только показать ихъ въ собственномъ ихъ видѣ, или назвать ихъ собственнымъ ихъ именемъ, чтобы возбудить къ нимъ отвращеніе, но есть вещи, которыя, при всемъ своемъ существенномъ безобразіи, обманываютъ блескомъ наружности. Есть ничтожество грубое, низкое, нагое, неприкрытое, грязное, вонючее, въ лохмотьяхъ; есть еще ничтожество гордое, самодовольное, пышное, великолѣпное, приводящее въ сомнѣніе объ истинномъ благѣ самую чистую, самую пылкую душу, — ничтожество, ѣздящее въ каретѣ, покрытое золотомъ, умно говорящее, вѣжливо кланяющееся, такъ что вы уничтожены передъ нимъ, что вы готовы подумать, что оно-то есть истинное величіе, что оно-то знаетъ цѣль жизни и что вы-то обманываетесь, вы-то гоняетесь за призраками. Для того и другого рода ничтожества нуженъ свой осо-

бенный бичъ, бичъ крѣпкій, ибо то и другое ничтожество покрыто тройной броней. Для того и другого рода ничтожества нужна своя Немезида, ибо надобно-же, чтобы люди иногда просыпались отъ своего безсмысленнаго усыпленія и вспоминали о своемъ человѣческомъ достоинствѣ; ибо надобно-же, чтобы громъ иногда раздавался надъ ихъ головами и напоминалъ имъ объ ихъ Творцѣ; ибо надобно-же, чтобы за пиршественнымъ столомъ, посреди остатковъ безумной роскоши, среди утѣхъ бѣснующейся масляницы, унылый и торжественный звукъ колокола возмущалъ внезапно ихъ безумное упоеніе и напоминалъ о храмѣ Божіемъ, куда всякій долженъ предстать съ раскаяніемъ въ сердцѣ, съ гимномъ на устахъ!...

Гоголь сдѣлался извѣстнымъ своими «Вечерами на Хуторѣ». Это были поэтическіе очерки Малороссіи, очерки, полные жизни и очарованія. Все, что можетъ имѣть природа прекраснаго, сельская жизнь простолюдиновъ — обольстительнаго, все, что народъ можетъ имѣть оригинальнаго, типическаго, все это радужными цвѣтами блеститъ въ этихъ первыхъ поэтическихъ грезахъ Гоголя. Это была поэзія юная, свѣжая, благоуханная, роскошная, упоительная, какъ поцѣлуй любви... Читайте вы его «Майскую ночь», читайте ее въ зимній вечеръ у пылающаго камелька, и вы забудете о зимѣ съ ея морозами и мятелями; вамъ будетъ чудиться эта свѣтлая, прозрачная ночь благословеннаго юга, полная чудесъ и тайнъ; вамъ будетъ чудиться эта юная, блѣдная красавица, жертва ненависти злой мачихи, это оставленное жилище съ однимъ растворэннымъ окномъ, это пустынное озеро, на тихихъ водахъ котораго играютъ лучи мѣсяца, на зеленыхъ берегахъ котораго пляшутъ вереницы безплотныхъ красавицъ... Это впечатлѣніе очень похоже на то, которое производитъ на воображеніе «Сонъ въ Лѣтнюю ночь» Шекспира. «Ночь передъ

Рождествомъ Христовымъ» есть цѣлая, полная картина домашней жизни народа, его маленькихъ радостей, его маленькихъ горестей, словомъ, тутъ вся поэзія его жизни. «Страшная месть» составляетъ теперь pendant къ «Тарасу Бульбѣ», и обѣ эти огромныя картины показываютъ, до чего можетъ возвышаться талантъ Гоголя. Но я никогда-бы не кончилъ, если-бы сталъ разбирать «Вечера на хуторѣ». «Арабески» и «Миргородъ» носятъ на себѣ всѣ признаки зрѣющаго таланта. Въ нихъ меньше этого упоенія, этого лирическаго разгула, но больше глубины и вѣрности въ изображеніи жизни. Сверхъ того онъ здѣсь расширилъ свою сцену дѣйствія, и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссіи, пошелъ искать поэзіи въ нравахъ средняго сословія въ Россіи. И, Боже мой, какую глубокую и могучую поэзію нашелъ онъ тутъ! Мы, москали, и не подозрѣвали ея!... «Невскій проспектъ» есть созданіе столь-же глубокое, сколько и очаровательное; это двѣ полярныя стороны одной и той-же жизни, это высокое и смѣшное о-бокъ другъ другу. На одной сторонѣ этой картины бѣдный художникъ, безпечный и простодушный, какъ дитя, замѣчаетъ на Невскомъ проспектѣ женщину-ангела, одно изъ тѣхъ дивныхъ созданій, которыя могло производить только его художническое воображеніе; онъ слѣдитъ за нею, онъ дрожитъ, онъ не смѣетъ дохнуть, ибо онъ еще не знаетъ ся, но уже обожаетъ ее, а всякое обожаніе робко и трепетно; онъ замѣчаетъ ея благосклонную улыбку— и «кареты казались ему недвижны, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка и аллебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами и нарисованными ножницами, блестѣла, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ». Задыхаясь отъ упоенія и трепетнаго предчувствія блаженства, онъ входитъ за нею въ третій этажъ большого дома, и что-же представляется ему?...

Она, все такъ-же прекрасная, очаровательная, она смотритъ на него глупо, какъ-бы говоря ему: «Ну, что-же ты?...» Онъ бросается вонъ. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивнаго, драгоцѣннаго перла нашей поэзіи, второго и единственнаго, послѣ сна Татьяны Пушкина: здѣсь Гоголь поэтъ въ высочайшей степени. Кто читаетъ эту повѣсть въ первый разъ, для того въ этомъ дивномъ снѣ дѣйствительность и поэзія, реальное и фантастическое такъ тѣсно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сонъ. Представьте себѣ бѣднаго, запачканнаго художника, потеряннаго въ толпѣ звѣздъ, крестовъ и всякаго рода совѣтниковъ: онъ толкается между ними, уничтожающими его своимъ блескомъ, онъ стремится къ ней, и они безпрестанно разлучаютъ его съ нею, они, эти кресты и звѣзды, которые смотрятъ на нее безъ всякаго упоенія, безъ всякаго трепета, какъ на свои золотыя табакерки... И какое пробужденіе послѣ этого сна! и какъ можно жить послѣ такого пробужденія? И онъ точно не живетъ въ дѣйствительности, онъ весь въ грезахъ... Наконецъ, въ его душѣ блеснулъ обманчивый, но радужный лучъ надежды: онъ рѣшается на самоотверженіе, онъ хочетъ принести ей въ жертву, какъ Молоху, даже честь свою... «А я только-что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра, я была совсѣмъ пьяна» — это говоритъ ему она, все такъ-же прекрасная, очаровательная... Послѣ этого можно-ли было жить даже въ грезахъ?... И нѣтъ художника: онъ сошелъ въ темную могилу, никѣмъ не оплаканный, и міръ не зналъ, какая высокая и ужасная драма была разыграна въ этой грѣшной страдальческой душѣ...

На другой сторонѣ этой картины вы видите Пирогова и Шиллера; — того Пирогова, о которомъ я уже говорилъ, — того Шиллера, который хотѣлъ себѣ отрѣзать носъ, чтобы избавиться отъ излиш-

нихъ расходовъ на табакъ; того Шиллера, который говоритъ съ гордостью, что онъ — швабскій нѣмецъ, а не русская свинья, и что у него есть король въ Германіи; — того Шиллера, который еще съ двадцатилѣтняго возраста, съ того времени, которое русскій живетъ на фуфу, измѣрилъ всю свою жизнь и положилъ себѣ въ теченіе 10 лѣтъ составить капиталъ изъ 50-ти тысячъ, и у котораго это было уже такъ вѣрно и неотразимо, какъ судьба, потому что скорѣе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели нѣмецъ рѣшится перемѣнить свое слово; наконецъ, — того Шиллера, «который положилъ цѣловать жену свою въ сутки не болѣе двухъ разъ, и чтобы какъ-нибудь не поцѣловать лишній разъ, никогда не клалъ перцу болѣе одной ложечки въ свой супъ». Чего вамъ еще? Тутъ весь человѣкъ, вся исторія его жизни!...

А Пироговъ?... О, объ немъ объ одномъ можно написать цѣлую книгу... Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, съ которою онъ составляетъ такую отличную пару, его ссору и отношенія съ Шиллеромъ; помните, какіе ужасные побои претерпѣлъ онъ отъ флегматичнаго Отелло; помните, какимъ негодованіемъ, какой жаждой мести закипѣло сердце поручика, и помните, какъ скоро прошла его досада отъ съѣденныхъ кондитерскихъ пирожковъ и прочтенія «Пчелы»?... Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискаревъ и Пироговъ — какой контрастъ! Оба они начали въ одинъ день, въ одинъ часъ преслѣдованія своихъ красавицъ, и какъ различны для обоихъ ихъ были слѣдствія этихъ преслѣдованій! О, какой смыслъ скрытъ въ этомъ контрастѣ! И какое дѣйствіе производитъ этотъ контрастъ. Пискаревъ и Пироговъ... одинъ въ могилѣ, другой доволенъ и счастливъ, даже послѣ неудачнаго волокитства и ужасныхъ побоевъ!... Да, господа, скучно на этомъ свѣтѣ!

«Портретъ» есть неудачная попытка Гоголя въ фантастическомъ родѣ. Здѣсь его талантъ падаетъ, но онъ и въ самомъ паденіи остается талантомъ. Первой части этой повѣсти невозможно читать безъ увлеченія; даже, въ самомъ дѣлѣ, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое въ этомъ таинственномъ портретѣ, есть какая-то непобѣдимая прелесть, которая заставляетъ насъ насильно смотрѣть на него, хотя вамъ это и страшно. Прибавьте къ этому множество юмористическихъ картинъ и очерковъ во вкусѣ Гоголя; вспомните квартальнаго надзирателя, разсуждающаго о живописи, потомъ эту мать, которая привела къ Черткову свою дочь, чтобы снять съ нея портретъ, и которая бранитъ балы и восхищается природою, — и вы не откажете въ достоинствѣ и этой повѣсти. Но вторая ея часть рѣшительно ничего не стоитъ; въ ней совсѣмъ не видно Гоголя. Это явная придѣлка, въ которой работалъ умъ, а фантазія не принимала никакого участія.

Вообще надо сказать, фантастическое какъ-то не совсѣмъ дается Гоголю, и мы вполнѣ согласны съ мнѣніемъ Шевырева, который говоритъ, что «ужасное не можетъ быть подробно: призракъ тогда страшенъ, когда въ немъ есть какая-то неопредѣленность; если-же вы въ призракѣ умѣете разглядѣть слизистую пирамиду, съ какими-то челюстями вмѣсто ногъ и языкомъ вверху, тутъ ужъ не будетъ ничего страшнаго, и ужасное переходитъ просто въ уродливое». Но зато картины малороссійскихъ нравовъ, описаніе бурсы (впрочемъ немного напоминающее бурсу Нарѣжнаго), портретъ бурсаковъ, и особенно этого философа Хомы, философа не по одному классу семинаріи, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь... О, несравненный *Dominus* Хома! какъ ты великъ въ своемъ стоическомъ равнодушіи ко всему земному, кромѣ горѣлки! Ты натерпѣлся горя и

страха, ты чуть не попался въ когти къ чертямъ, но ты все забываешь за широкой и глубокой ендовой, на днѣ которой схоронены твоя храбрость и твоя философія; ты, на вопросъ о видѣнныхъ тобою страстяхъ, машешь рукою и говоришь: «Много на свѣтѣ всякой дряни водится!» у тебя половина головы посѣдѣла въ одну ночь, а ты оттопываешь трепака, да такъ, что добрые люди, смотря на тебя, плюютъ и восклицаютъ: «Вотъ это такъ долго танцуетъ человѣкъ!» Пусть судитъ всякій, какъ хочетъ, а по мнѣ такъ философъ Хома стоитъ философа Сковороды! *). Потомъ помните-ли вы невольное путешествіе философа Хомы, помните-ли попойку въ шинкѣ, этого Дороша, который, нагрузившись пѣнникомъ, вдругъ захотѣлъ узнать, непремѣнно узнать, чему учатъ въ бурсѣ (шуточное дѣло!), этого резонера, который божился, что «все должно оставить такъ, какъ есть, что Богъ знаетъ, какъ нужно», и, наконецъ, этого казака съ сѣдыми усами, который рыдалъ о томъ, что остался круглой сиротой... А эти поучительныя бесѣды на кухнѣ, гдѣ «обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новые шаровары, и что̀ находится внутри земли, и кто видѣлъ волка?» А сужденія этихъ умныхъ головъ о чудесахъ въ природѣ? а портретъ пана сотника?... и кто перечтетъ?... Нѣтъ, несмотря на неудачу въ фантастическомъ, эта повѣсть есть дивное созданіе. Но и фантастическое въ ней слабо только въ описаніи привидѣній, а чтеніе Хомы въ церкви, возстаніе красавицы, явленія Вія безподобны.

Я еще мало говорилъ о «Тарасѣ Бульбѣ», я не буду слишкомъ распространяться о немъ, ибо въ такомъ случаѣ у меня вышла-бы еще статья

---

*) Григорій Саввичъ Сковорода (1722—1794) извѣстный украинскій философъ, одинъ изъ основателей Харьковскаго университета.

не менѣе самой повѣсти... «Тарасъ Бульба» есть отрывокъ, эпизодъ изъ великой эпопеи жизни цѣлаго народа. Если въ наше время возможна гомерическая эпопея, то вотъ вамъ ея величайшій образецъ, идеалъ и прототипъ!... Если говорить, что въ «Иліадѣ» отражается вся жизнь греческая въ ея героическій періодъ, то развѣ однѣ піитики и риторики прошлаго вѣка запретятъ сказать то-же самое о «Тарасѣ Бульбѣ» въ отношеніи къ Малороссіи XVI вѣка?... И въ самомъ дѣлѣ, развѣ здѣсь не все казачество съ его странной цивилизаціей, его удалой, разгульной жизнью, его безпечностью и лѣнью, неутомимостью и дѣятельностью, его буйными оргіями и кровавыми набѣгами?... Скажите мнѣ, чего нѣтъ въ картинѣ, чего недостаетъ ея полнотѣ? Не выхвачено-ли все это со дна жизни, не бьется-ли здѣсь огромный пульсъ всей этой жизни? Этотъ богатырь Бульба со своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцевъ, дружно отдирающая на площади трепака; этотъ казакъ, лежащій въ лужѣ, для показанія своего презрѣнія къ дорогому платью, которое на немъ надѣто, и какъ-бы вызывающій на драку всякаго дерзкаго, кто-бы осмѣлился дотронуться до него хоть пальцемъ; этотъ кошевой, поневолѣ говорящій краснорѣчивую, витіеватую рѣчь о необходимости войны съ бусурманами, потому что «многіе запорожцы позадолжались въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры нейметъ»; эта мать, которая является какъ-бы мимоходомъ, чтобы заживо оплакать дѣтей своихъ, какъ всегда являлась въ тотъ вѣкъ женщина и мать въ казацкой жизни... А жиды и ляхи, а любовь Андрія и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззваніе къ отцу и «слышу» Бульбы и наконецъ героическая гибель стараго фанатика, который не чувствовалъ своихъ ужасныхъ мукъ, потому что чувствовалъ одну жажду мести къ враждебному народу?... И это не эпопея?... Да что-же

такое эпопея?... И какая кисть широкая, размашистая, рѣзкая, быстрая! какія краски яркія и ослѣпительныя... И какая поэзія энергическая, могучая, какъ эта Запорожская Сѣчь, «то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы, откуда разливается воля и казачество на всю Украйну!...»

Что еще сказать вамъ? можетъ быть вы мало удовлетворены и тѣмъ, что я уже сказалъ: что дѣлать! Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять другихъ чувствовать и понимать его! Если одни изъ читателей, прочтя мою статью, скажутъ: «это правда», или по крайней мѣрѣ: «во всемъ этомъ есть и правда»; если другіе, прочтя ее, захотятъ прочесть и разобранныя въ ней сочиненія — мой долгъ выполненъ, цѣль достигнута.

Но какой-же общій результатъ выведу я изъ всего сказаннаго мною? Что такое Гоголь въ нашей литературѣ? Гдѣ его мѣсто въ ней? Чего должно ожидать намъ отъ него, — отъ него, еще только начавшаго свое поприще, и какъ начавшаго! *). Не мое дѣло раздавать вѣнки безсмертія поэтамъ, осуждать на жизнь или смерть литературныя произведенія; если я сказалъ, что Гоголь — поэтъ, я уже все сказалъ, я уже лишилъ себя права дѣлать ему судейскіе приговоры. Теперь у насъ слово «поэтъ» потеряло свое значеніе: его смѣшали съ словомъ «писатель». У насъ много писателей, нѣкоторые даже съ дарованіемъ, но нѣтъ поэтовъ. «Поэтъ» — высокое и святое слово, въ немъ заключается не умирающая слава! Но дарованіе имѣетъ свои степени; Козловъ, Жуковскій, Пушкинъ, Шиллеръ — эти люди поэты; но равны-ли они? Развѣ не спорятъ еще и теперь, кто выше: Шиллеръ или Гёте? Развѣ общій голосъ не назвалъ Шекспира

*) Писано въ 1835 г., до появленія «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ».

царемъ поэтовъ, единственнымъ и несравненнымъ? И вотъ задача критики: опредѣлить степень, занимаемую художникомъ въ кругу своихъ собратій. Но Гоголь еще только началъ свое поприще; слѣдовательно наше дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ въ настоящее время онъ является главой литературы, главой поэтовъ, онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ. Предоставимъ времени рѣшить, чѣмъ и какъ кончится поприще Гоголя, а теперь будемъ желать, чтобы этотъ прекрасный талантъ долго сіялъ на небосклонѣ нашей литературы, чтобы его дѣятельность равнялась его силѣ.

Въ «Арабескахъ» помѣщены два отрывка изъ романа. Объ этихъ отрывкахъ нельзя судить какъ объ отдѣльномъ и цѣльномъ созданіи; но о нихъ можно сказать, что они вполнѣ могутъ служить залогомъ тѣхъ надеждъ, о которыхъ я говорилъ. Поэты бываютъ двухъ родовъ: одни только доступны поэзіи, и она у нихъ бываетъ болѣе способностью, чѣмъ даромъ или талантомъ, и много зависитъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ жизни: у другихъ даръ поэзіи есть нѣчто положительное, нѣчто составляющее нераздѣльную часть ихъ бытія. Первые, иногда одинъ разъ въ цѣлую жизнь, выскажутъ какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и, какъ будто обезсиленные тяжестью совершеннаго ими подвига, ослабѣваютъ и падаютъ въ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ; и вотъ отчего у нихъ первый опытъ по большей части бываетъ прекрасенъ, а послѣдующіе постепенно подрываютъ ихъ славу. Другіе съ каждымъ новымъ произведеніемъ возвышаются и крѣпнутъ; Гоголь принадлежитъ къ числу этихъ послѣднихъ поэтовъ: этого довольно!

Я забылъ еще объ одномъ достоинствѣ его произведеній: это лиризмъ, которымъ проникнуты его описанія такихъ предметовъ, которыми онъ увлекается. Описываетъ-ли онъ бѣдную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощеніе святого чувства любви — сколько тоски, грусти и любви въ его описаніи! Описываетъ-ли онъ юную красоту— сколько упоенія, восторга въ его описаніи! Описываетъ-ли онъ красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссіи — это сынъ, ласкающійся къ обожаемой матери! Помните-ли вы его описаніе безбрежныхъ степей днѣпровскихъ? Какая широкая, размашистая кисть! какой разгулъ чувства! Какая роскошь и простота въ этомъ описаніи! Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши у Гоголя!...

Въ одномъ журналѣ было изъявлено странное желаніе, чтобы Гоголь попробовалъ своихъ силъ въ изображеніи высшихъ слоевъ общества: вотъ мысль, которая въ наше время отзывается ужаснымъ анахронизмомъ! Какъ! неужели поэтъ можетъ сказать себѣ: дай, опишу то или другое, попробую себя въ томъ или другомъ родѣ!... И притомъ, развѣ предметъ дѣлаетъ что-нибудь для достоинства сочиненія? Развѣ это не аксіома: гдѣ жизнь, тамъ и поэзія? Но мои «развѣ» никогда-бы не кончились, если-бы я захотѣлъ высказать ихъ всѣ, безъ остатка. Нѣтъ, пусть Гоголь описываетъ то, что̀ велитъ ему описывать его вдохновеніе, и пусть страшится описывать то, что̀ велятъ ему описывать или его воля, или гг. критики. Свобода художника состоитъ въ гармоніи его собственной воли съ какой-то внѣшней, независящей отъ него волей, или, лучше сказать, его воля — вдохновеніе *).

* *
*

---

*) Изъ статьи «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя».

«Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки», которыми началось поэтическое поприще Гоголя, и которые теперь въ третій разъ выходятъ въ свѣтъ, оставлены авторомъ безъ всякихъ измѣненій. Такъ и должно было быть: порожденія легкой, свѣтлой, юношеской фантазіи, веселыя пѣсни на пиру еще неизвѣданной жизни, они не могли подвергнуться измѣненіямъ поэта, который уже давно смотритъ на жизнь взоромъ глубокимъ, проницательнымъ и грустно-важнымъ. Для самого поэта эти образы, свѣтлые, какъ майская ночь его Малороссіи, радостные, какъ звучный смѣхъ его Оксаны, шаловливые, какъ затѣи неугомонныхъ парубковъ, товарищей удалого Левко, сладостно-задумчивые, какъ свѣтлоокая панночка-утопленница, добродушно насмѣшливые, какъ вѣчно веселая юность, всѣ эти образы навсегда остались милы поэту, какъ первый поцѣлуй любви, какъ шипучая пѣна впервые осушеннаго бокала, какъ память о волшебныхъ дняхъ безпечно блаженнаго младенчества... Онъ самъ говоритъ въ предисловіи: «Всю первую часть слѣдовало-бы исключить вовсе: это первоначальные ученическіе опыты, недостойные строгаго вниманія читателя; но при нихъ чувствовались первыя сладкія минуты молодого вдохновенія, и мнѣ стало жалко исключить изъ памяти первыя игры невозвратной юности. Снисходительный читатель можетъ пропустить весь первый томъ и начать чтеніе со второго». Такъ говоритъ поэтъ, — и онъ имѣетъ полное право простирать свою строгость къ самому себѣ за предѣлы умѣренности и справедливости; но публика тоже права, не соглашаясь съ нимъ. Всякій періодъ жизни человѣческой прекрасенъ и долженъ имѣть свои пѣсни и своихъ пѣвцовъ: «Вечера на Хуторѣ» есть одна изъ такихъ вѣчно звучныхъ пѣсенъ юности, которыхъ цѣль и назначеніе — вновь возвращать на волшебное мгновеніе самой старости невозвратно улетѣвшую юность... (Изъ статьи «Сочиненія Николая Гоголя», 1842 г.).

Вы возвышаетесь духомъ и предаетесь глубокой и важной думѣ, читая «Тараса Бульбу»; вы смѣетесь и хохочете, читая курьёзную «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ»: отчего эта противоположность впечатлѣнія отъ двухъ произведеній одного и того-же художника? — Отъ сущности дѣйствительности, воссозданной въ томъ и другомъ, оттого, что первое изображаетъ положеніе жизни, а другое — ея отрицаніе. Что̀ такое Тарасъ Бульба? Герой, представитель жизни цѣлаго народа, цѣлаго политическаго общества въ извѣстную эпоху жизни. Что̀ вы видите въ этой поэмѣ? что особенно поражаетъ васъ въ ней? Общество, составленное изъ пришельцевъ разныхъ странъ, изъ удалыхъ головъ, бѣжавшихъ, кто отъ нищеты, кто отъ родительскаго проклятія, кто отъ меча закона, и, между тѣмъ, общество, имѣющее одинъ общій характеръ, твердо сплоченное и связанное какимъ-то крѣпкимъ цементомъ. Въ чемъ эта связь? — Въ православіи? — но оно такъ безтребовательно, такъ ограничено и бѣдно въ своей сущности, что мало походитъ на религію. — «Они приходили сюда, какъ будто возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшій является только къ кошевому, который, обыкновенно, говорилъ: «Здравствуй! Что, во Христа вѣруешь?» — Вѣрую! — отвѣчалъ приходившій. — «И въ Троицу святую вѣруешь?» — Вѣрую! — «И въ церковь ходишь?» — Хожу. — «А ну, перекрестись!» — Пришедшій крестился. — «Ну, хорошо, — отвѣчалъ кошевой, — ступай-же въ который самъ знаешь курень». — Этимъ оканчивается вся церемонія». — Нѣтъ, тутъ была другая сильнѣйшая связь: это удальство, которому жизнь — копейка, голова — наживное дѣло; это жажда дикихъ натуръ людей, кипящихъ избыткомъ исполинскихъ силъ, — жажда наполнить свою жизнь, тяготимую бездѣйствіемъ и праздностью; что-же

лучше могло наполнить ее, удовлетворить дикій духъ человѣка могучаго, но безъ идей, безъ образованности, почти полудикаря, какъ не кровавая сѣча, какъ не отчаянное удальство во время войны, и не бѣшеная гульба во время мира? Оттого-то и въ этой гульбѣ нѣтъ ничего оскорбляющаго чувство, но такъ много поэтическаго; оттого-то эта гульба была, какъ превосходно выразился поэтъ, широкимъ разметомъ души. Итакъ, вотъ гдѣ основа и источникъ казацкой жизни и Запорожской Сѣчи, «того гнѣзда, откуда вылетали тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы», и вотъ гдѣ основная идея поэмы Гоголя. Тарасъ Бульба является у него представителемъ въ этой жизни, идеи этого народа, апоѳеозомъ этого широкаго размета души. Дурной мужъ, какъ всѣ люди полудикой гражданственности, онъ любитъ своихъ сыновей, потому что изъ нихъ должны выйти важные рыцари, и онъ не любилъ-бы и презиралъ-бы дочерей своихъ, если-бы имѣлъ ихъ, потому что онъ никакъ не могъ понять, что хорошаго въ человѣкѣ, если онъ не годится въ рыцари. Онъ былъ христіаниъ и православный по преданію, въ самомъ отвлеченномъ смыслѣ: рѣдко видѣлъ церковь Божію, и въ правилахъ жизни своей руководствовался обычаемъ и собственными страстями, а не религіею — и между тѣмъ зарѣзалъ-бы родного сына за малѣйшее слово противъ религіи, и фанатически ненавидѣлъ басурмановъ. Онъ любилъ свою родную Украйну и ничего не зналъ выше и прекраснѣе удалаго казачества, потому что чувствовалъ то и другое въ каждой каплѣ крови своей, и духъ того и другого нашелъ въ немъ свой настоящій сосудъ, рѣзкими, рельефными чертами выпечатлѣлся на его полудикой физіономіи и во всей его полудикой личности. Народную вражду онъ смѣшалъ съ личной ненавистью, и когда къ этому присоединился дикій фанатизмъ отвлеченной религіозности, то мысль о поганомъ католичествѣ, какъ называлъ онъ поляковъ,

представлялась ему въ формѣ дымящейся крови, предсмертныхъ стоновъ и зарева пылающихъ городовъ, селъ, монастырей и костеловъ... Это — лицо совершенно трагическое; его комизмъ только въ противоположности формъ его индивидуальности съ нашими — комизмъ чисто внѣшній. Вы смѣетесь, когда онъ дерется на кулачки съ роднымъ сыномъ и пресерьёзно совѣтуетъ ему тузить всякаго, какъ онъ тузилъ своего батьку; но вы уже и не улыбаетесь, когда видите, что онъ попался въ плѣнъ, потянувшись за грошевою люлькою; но вы содрогаетесь, только еще видя, что онъ, въ яростной битвѣ, приближается къ оторопѣвшему сыну — сердце ваше предчувствуетъ трагическую катастрофу; но у васъ замираетъ духъ отъ ужаса, когда въ вашемъ слухѣ раздается этотъ комическій вопросъ: «что, сынку?»; но вы болѣзненно раздѣляете это мимолетное умиленіе желѣзнаго характера, въ словахъ Бульбы: «Чѣмъ-бы не казакъ былъ? — и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо, какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою — пропалъ, пропалъ безъ славы!»... А эта страшная жажда мести у Бульбы противъ красавицы-польки, по мнѣнію его, чарами погубившей его сына, и потомъ — это море крови и пожаровъ, объявшее враждебный край и, среди его, грозная фигура стараго фанатика, совершавшаго страшную тризну въ память сына, наконецъ, это омертвѣніе могучей души, оглушенной двукратнымъ потрясеніемъ, потерею обоихъ сыновей: «Неподвижный сидѣлъ онъ на берегу моря, шевеля губами и произнося: «Остапъ мой, Остапъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усъ его серебрился и слезы капали одна за другою»... А это безконечно-знаменательное: «слышу, сынку!» и эта вторая страшная тризна мщенія за второго сына, кончившаяся смертью мстителя, и какою смертью! — привязанный желѣзною цѣпью къ стоя

чему бревну, съ пригвожденною рукою, кричалъ онъ своимъ «хлопцамъ», что имъ надо дѣлать, чтобы спастись отъ непріятеля, и изъявлялъ свой восторгъ отъ ихъ удальства и проворства... Видите-ли: у этого человѣка была идея, которою онъ жилъ и для которой онъ жилъ; видите-ли: онъ не пережилъ ея, онъ умеръ вмѣстѣ съ нею... Для нея убилъ онъ собственною рукою милаго сына, для нея онъ умеръ и самъ... Въ его душѣ жила одна идея, и всѣ другія были ему недоступны, враждебны и ненавистны. А жизнь въ объективной идеѣ, до претворенія ея въ субъективную стихію жизни — есть жизнь въ разумной дѣйствительности, въ положеніи, а не въ отрицаніи жизни. Грубость и ограниченность Бульбы принадлежатъ не его личности, но его народу и времени. Сущность жизни всякаго народа есть великая дѣйствительность, въ Тарасѣ Бульбѣ эта сущность нашла свое полнѣйшее выраженіе.

Совсѣмъ другой міръ представляетъ намъ ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Это міръ случайностей, неразумности; это отрицаніе жизни, пошлая, грязная дѣйствительность. Но какимъ-же образомъ могла она сдѣлаться содержаніемъ художественнаго произведенія, и не унизилъ-ли художникъ своего таланта, сдѣлавъ изъ него такое употребленіе? Резонёры, которымъ доступна одна внѣшность, а не мысль, отвѣтятъ вамъ утвердительно на этотъ вопросъ. Мы думаемъ напротивъ. Какъ мы уже сказали, частное явленіе отрицанія жизни возбуждаетъ одно отвращеніе, и есть призракъ; но какъ идея, какъ необходимая сторона жизни, призрачность получаетъ характеръ дѣйствительности и, слѣдовательно, можетъ и должна быть предметомъ искусства. Тутъ задача въ томъ, чтобы въ основаніи художественнаго произведенія лежала общая идея, и чтобы изображенія поэта были не списками съ частныхъ явленій (эти списки

суть призраки), но идеалы, для того перешедшіе въ дѣйствительность явленія, чтобы каждый изъ нихъ былъ выраженіемъ идеи, представителемъ цѣлаго ряда. безконечнаго множества явленій одной идеи, и, будучи въ этомъ значеніи общимъ, былъ-бы въ то-же время единымъ — живою, замкнутою въ самой себѣ особностью. Всякая частность есть случайность, и если ея значеніе низко и пошло — она оскорбляетъ человѣческое эстетическое чувство; но общее, хотя-бы и отрицательной стороны жизни, уже дѣлается предметомъ знанія, и теряетъ свою случайность. Вотъ если-бы поэтъ, въ изображеніяхъ такого рода явленій, вздумалъ оправдывать свои субъективныя убѣжденія, и грязь жизни выдавать субъективно за поэзію жизни, — тогда-бы его изображенія были отвратительны; но тогда-бы онъ уже и пересталъ быть поэтомъ. Они существуютъ для него объективно, всѣ они внѣ его, но онъ самъ въ нихъ, потому что поэтическимъ ясновидѣніемъ своимъ онъ проводитъ ихъ идею и, проводя ихъ чрезъ свою творческую фантазію, просвѣтляетъ этою идеею ихъ естественную грубость и грязность.

Были два пріятеля-сосѣда, соединенные другъ съ другомъ неразрывными узами взаимной почтенности, привычки и праздности. Мы не будемъ ихъ описывать послѣ изображенія, сдѣланнаго поэтомъ. Если, читатели, вы помните и знаете Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича — были они искренними друзьями, и вдругъ сдѣлались страшными врагами, и прожили все свое имѣніе, стараясь доѣхать другъ друга судомъ. А отчего? Стоитъ привести по нѣскольку чертъ характера каждаго — и вы поймете причину этого страшнаго явленія. Иванъ Ивановичъ былъ человѣкъ весьма солидный, самаго тонкаго обращенія, терпѣть не могъ грубыхъ или непристойныхъ словъ, и когда потчивалъ кого-нибудь знакомаго табакомъ, то говорилъ: «смѣю-ли просить, государь мой, объ одолженіи?», а если незнакомаго, то: «смѣю-ли просить, государь

мой, не имѣя чести знать чина, имени и отчества, объ одолженіи?». Онъ любилъ лежать на солнцѣ подъ навѣсомъ, въ одной рубашкѣ только, послѣ обѣда, а вечеромъ надѣвалъ бекешь, выходя со двора; но самая рѣзкая черта его характера была та, что, съѣвши дыню, онъ завертывалъ въ бумажку сѣмена, и надписывалъ: «Сія дыня съѣдена такого-то числа»; а если при этомъ былъ гость, то: «участвовалъ такой-то». Присовокупите къ этому страшную скупость и высокую цѣну, придаваемую земнымъ благамъ — и Иванъ Ивановичъ весь передъ вами. Иванъ Никифоровичъ отличался отъ своего друга толстотою и любилъ употреблять въ разговорѣ непристойныя слова, къ крайнему неудовольствію достойнаго Ивана Ивановича; любилъ въ жаркіе дни выставлять на солнце спину, садиться по горло въ воду, куда ставилъ столъ и самоваръ и пилъ чай; любилъ въ комнатѣ лежать въ натурѣ, и когда потчивалъ кого изъ своей табакерки табакомъ, то просто говорилъ: «одолжайтесь». Теперь вы видите всю эту жизнь, понятную только въ произведеніи художника, но случайную, безсмысленную и глупо-животную въ дѣйствительности. Оба героя — призраки (въ томъ смыслѣ, который мы выше придали этому слову), и все, что они ни дѣлаютъ, есть призракъ, пустота, безсмыслица. Въ ихъ характерахъ уже лежитъ, какъ необходимость, ихъ ссора.. Ивану Ивановичу захотѣлось имѣть у себя ружье Ивана Никифоровича; зачѣмъ? — не спрашивайте; онъ самъ этого не знаетъ. Мы думаемъ, что это было безсознательнымъ желаніемъ чѣмъ-нибудь наполнить свою праздную пустоту, потому что пустота вслѣдствіе праздности тяжка и мучительна для всякаго человѣка, какъ-бы ни былъ онъ пошлъ. Иванъ Никифоровичъ, по такой-же причинѣ, не хотѣлъ уступить ему своего ружья, хотя тотъ и обѣщалъ ему за него приличное вознагражденіе — бурую свинью и мѣшокъ

гороха. Завязался крупный разговоръ, въ которомъ Иванъ Никифоровичъ, грубый въ своихъ выходкахъ, назвалъ Ивана Ивановича, этого до крайности деликатнаго и щекотливаго со стороны своей чести и аттенціи человѣка, назвалъ его — о, ужасъ! — гусакомъ...

Великая, безконечно-великая черта художественнаго генія этотъ гусакъ! Если-бы поэтъ причиною ссоры сдѣлалъ дѣйствительно оскорбительныя ругательства, пощечину, драку — это испортило-бы все дѣло. Нѣтъ, поэтъ понялъ, что въ мірѣ призраковъ, которому онъ давалъ объективную дѣйствительность, и забавы, и занятія, и удовольствія, и горести, и страданія, и самое оскорбленіе — все призрачно, безсмысленно, пусто и пошло. Не думайте, чтобы эти два чудака были отъ природы созданы такими: нѣтъ, природа справедлива къ людямъ — она каждому даетъ въ мѣру чего и сколько ему нужно. Конечно, эти чудаки и отъ природы были не бойкіе люди, но и имъ нашлась-бы своя ступенька на безконечной лѣстницѣ человѣческой и гражданской дѣятельности: они могли-бы быть хорошими мужьями, отцами, хозяевами, и имѣть, сообразно съ занимаемымъ ими мѣстечкомъ въ цѣпи явленій духа, свою благообразность формы; но воспитаніе, животная лѣнь, праздность, невѣжество — вотъ что сдѣлало ихъ такими. Ихъ хотятъ примирить и почти было успѣли въ этомъ; уже Иванъ Никифоровичъ полѣзъ въ карманъ, чтобъ достать рожокъ и сказать «одолжайтесь», но вдругъ лукавый дернулъ его замѣтить, что не стоитъ сердиться изъ пустого слова «гусакъ». Видите-ли: если-бы онъ гусака замѣнилъ птицею, или выразился какъ-нибудь иначе, они снова были-бы друзьями; но роковое слово было сказано, и снова прадѣдовскіе карбованцы полетѣли изъ желѣзныхъ сундуковъ въ карманы подьячихъ, и имѣніе внѣшнее и внутреннее благосостояніе, вся жизнь была исто-

щена въ тяжбѣ. Десять лѣтъ прошло, головы ихъ убѣлились сѣдиною, и поэтъ восклицаетъ: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» Да! грустно думать, что человѣкъ, этотъ благороднѣйшій сосудъ духа, можетъ жить и умереть призракомъ и въ призракахъ, даже и не подозрѣвая возможности дѣйствительной жизни! И сколько на свѣтѣ такихъ людей, сколько на свѣтѣ Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей!... *)

„Мертвыя Души".

По нашему крайнему разумѣнію и искреннему, горячему убѣжденію, «Мертвыя Души» стоятъ весьма высоко въ русской литературѣ, ибо въ нихъ глубина живой общественной идеи неразрывно сочеталась съ удивительной художественностью образовъ, и этотъ романъ, почему-то названный поэмой, представляетъ собою произведеніе столько-же національное, сколько и высоко-художественное **).

* *
*

Смыслъ, содержаніе и форма «Мертвыхъ Душъ» есть «созерцаніе данной сферы жизни сквозь видимый міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы». Въ этомъ и заключается трагическое значеніе комическаго произведенія Гоголя; это и выводитъ его изъ ряда обыкновенныхъ сатирическихъ сочиненій, и этого-то не могутъ понять ограниченные люди, которые видятъ въ «Мертвыхъ Душахъ» много смѣшного, уморительнаго, говоря ихъ простонароднымъ жаргономъ, но ужъ мѣстами черезчуръ преувели-

---

*) Изъ статьи «Горе отъ ума», 1839 г.

**) Изъ библіографической замѣтки «Похожденія Чичикова или Мертвыя Души. М. 1846».

рованнаго. Всякое выстраданное произведеніе великаго таланта имѣетъ глубокое значеніе, — и мы первые признаемъ «Мертвыя Души» Гоголя великимъ въ самомъ себѣ произведеніемъ въ мірѣ искусства, для иностранцевъ лишеннымъ всякаго общаго содержанія, но для насъ тѣмъ болѣе важнымъ и драгоцѣннымъ. Еще не было доселѣ болѣе важнаго для русской общественности произведенія, — и только одинъ Гоголь можетъ дать намъ другое, болѣе важное произведеніе, а дастъ-ли въ самомъ дѣлѣ — «кто впрочемъ знаетъ», судя по нѣкоторымъ основнымъ началамъ воззрѣнія, которыя довольно непріятно промелькиваютъ въ «Мертвыхъ Душахъ» и относятся къ нимъ, какъ крапинки и пятнышки къ картинѣ великаго мастера **).

* * *

Въ «Мертвыхъ Душахъ» авторъ сдѣлалъ такой великій шагъ, что все, доселѣ имъ написанное, кажется слабымъ и блѣднымъ въ сравненіи съ ними... Величайшимъ успѣхомъ и шагомъ впередъ считаемъ мы со стороны автора то, что въ «Мертвыхъ Душахъ» вездѣ ощущаемо и, такъ сказать, осязаемо проступаетъ его субъективность. Здѣсь мы разумѣемъ не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажаетъ объективную дѣйствительность изображаемыхъ поэтомъ предметовъ; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая въ художникѣ обнаруживаетъ человѣка съ горячимъ сердцемъ, симпатичною душою и духовно-личною самостію *), — ту субъективность, которая не допускаетъ его съ апатическимъ равнодушіемъ быть чуждымъ міру,

---

**) Изъ статьи «Объясненіе на объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя Души» (полемика Бѣлинскаго съ К. Аксаковымъ).

*) Индивидуальностью.

имъ рисуемому, но заставляетъ его проводить черезъ свою душу живу явленія внѣшняго міра, а черезъ то и въ нихъ вдыхать душу живу... Это преобладаніе субъективности, проникая и одушевляя собою всю поэму Гоголя, доходитъ до высокаго лирическаго паѳоса и освѣжительными волнами охватываетъ душу читателя даже въ отступленіяхъ, какъ, напримѣръ, тамъ, гдѣ онъ говоритъ о завидной долѣ писателя, «который изъ великаго омута ежедневно вращающихся образовъ избралъ одни немногія исключенія; который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не ниспускался съ вершины своей къ бѣднымъ, ничтожнымъ своимъ собратіямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвеличенные образы»; или тамъ, гдѣ говоритъ онъ о грустной судьбѣ «писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно передъ очами, и чего не зрятъ равнодушныя очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣпкою силою неумолимаго рѣзца, дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи»; или тамъ еще, гдѣ онъ, по случаю встрѣчи Чичикова съ плѣнившею его блондинкою, говоритъ, что «вездѣ, гдѣ-бы ни было въ жизни, среди-ли черствыхъ, шероховато-бѣдныхъ, неопрятно-плѣснѣющихъ, низменныхъ рядовъ ея, или среди однообразно-хладныхъ и скучно-опрятныхъ сословій высшихъ, вездѣ, хоть разъ, встрѣтится на пути человѣку явленіе, непохожее на все то, что случалось ему видѣть дотолѣ, которое хоть разъ пробудитъ въ немъ чувство, непохожее на тѣ, которыя суждено ему чувствовать всю жизнь; вездѣ, поперекъ какимъ-бы то ни было печалямъ, изъ которыхъ плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, какъ

блестящій экипажъ съ золотою упряжью, картинными конями и сверкающимъ блескомъ стеколъ вдругъ неожиданно промчится мимо какой-нибудь заглохнувшей, бѣдной деревушки, невидавшей ничего, кромѣ сельской телѣги, — и долго мужики стоятъ, зѣвая съ открытыми ртами, не надѣвая шапокъ, хоть давно уже унесся и пропалъ изъ виду дивный экипажъ...» Такихъ мѣстъ въ поэмѣ много — всѣхъ не выписать. Но этотъ паѳосъ субъективности поэта проявляется не въ однихъ такихъ высоко-лирическихъ отступленіяхъ: онъ проявляется безпрестанно, даже и среди разсказа о самыхъ прозаическихъ предметахъ, какъ, напримѣръ, объ извѣстной дорожкѣ, протоpенной забубеннымъ русскимъ народомъ... Его-же музыку чуетъ внимательный слухъ читателя и въ восклицаніяхъ, подобныхъ слѣдующему: «Эхъ, русскій народецъ! Не любитъ умирать своею смертью!...»

Столь-же важный шагъ впередъ со стороны таланта Гоголя видимъ мы и въ томъ, что въ «Мертвыхъ Душахъ» онъ совершенно отрѣшился отъ малороссійскаго элемента и сталъ русскимъ національнымъ поэтомъ во всемъ пространствѣ этого слова. При каждомъ словѣ его поэмы, читатель можетъ говорить:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ!

Этотъ русскій духъ ощущается и въ юморѣ, и въ ироніи, и въ выраженіи автора, и въ размашистой силѣ чувствъ, и въ лиризмѣ отступленій, и въ паѳосѣ всей поэмы, и въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ, отъ Чичикова до Селифана и «подлеца чубарова» включительно; — въ Петрушкѣ, носившемъ съ собою свой особенный воздухъ, и въ будочникѣ, который, при фонарномъ свѣтѣ, въ просонкахъ, казнилъ на ногтѣ звѣря и снова заснулъ. Знаемъ, что чопорное чувство многихъ читателей оскорбится въ печати тѣмъ, что такъ субъективно свойственно ему въ жизни, и назоветъ

сальностями выходки въ родѣ казненнаго на ногтѣ звѣря; но это значитъ не понять поэмы, основанной на паѳосѣ дѣйствительности, какъ она есть. Изображайте мѣщанско-филистерскую жизнь нѣмцевъ, и вы принуждены будете упоминать (въ похвалу, или насмѣшку) о педантизмѣ ихъ опрятности; касаясь-же жизни русскаго простонародья, неотличающагося, какъ извѣстно, излишнею чистоплотностью, значило-бы пропустить одну изъ характерныхъ чертъ ея, если-бы не замѣтить, что не только въ деревняхъ, днемъ, сидя у воротъ, бабы усердно занимаются казненіемъ звѣрей у ребятишекъ, изъявляя имъ этимъ свою нѣжность и заботливость, но и въ столицахъ извозчики на биржахъ и работники на улицахъ, не рѣдко оказываютъ другъ другу подобную услугу, единственно изъ безкорыстной любви къ такому занятію...

«Мертвыя Души» прочтутся всѣми, но понравятся, разумѣется, не всѣмъ. Въ числѣ многихъ причинъ есть и та, что «Мертвыя Души» не соотвѣтствуютъ понятію толпы о романѣ, какъ о сказкѣ, гдѣ дѣйствующія лица полюбили, разлучились, а потомъ женились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могутъ вполнѣ насладиться только тѣ, кому доступна мысль и художественное выполненіе созданія, кому важно содержаніе, а не «сюжетъ»; для восхищенія всѣхъ прочихъ остаются только мѣста и частности. Сверхъ того, какъ всякое глубокое созданіе, «Мертвыя Души» не раскрываются вполнѣ съ перваго чтенія даже для людей мыслящихъ: читая ихъ во второй разъ, точно читаешь новое, никогда невиданное произведеніе. «Мертвыя Души» требуютъ изученія. Къ тому-же еще должно повторить, что юморъ доступенъ только глубокому и сильно-развитому духу. Толпа не понимаетъ и не любитъ его. У насъ, всякій писака такъ и таращится рисовать бѣшеныя страсти и сильные характеры, списывая

ихъ, разумѣется, съ себя и съ своихъ знакомыхъ. Онъ считаетъ для себя униженіемъ снизойти до комическаго и ненавидитъ его по инстинкту, какъ мышь кошку. «Комическое» и «юморъ» большинство понимаетъ у насъ какъ шутовское, какъ каррикатуру; мы увѣрены, что многіе не шутя, съ лукавою и довольною улыбкою отъ своей проницательности, будутъ говорить и писать, что Гоголь въ шутку назвалъ свой романъ поэмою...

Что касается до насъ, то, не считая себя въ правѣ говорить печатно о личномъ характерѣ живого писателя, мы скажемъ только, что не въ шутку назвалъ Гоголь свой романъ «поэмою» и что не комическую поэму разумѣетъ онъ подъ нею. Это намъ сказалъ не авторъ, а его книга. Мы не видимъ въ ней ничего шуточнаго и смѣшного; ни въ одномъ словѣ автора не замѣтили мы намѣренія смѣшить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга эта есть только экспозиція, введеніе въ поэму, что авторъ обѣщаетъ еще двѣ такія-же большія книги, въ которыхъ мы снова встрѣтимся съ Чичиковымъ и увидимъ новыя лица, въ которыхъ Русь выразится съ другой своей стороны... Нельзя ошибочнѣе смотрѣть на «Мертвыя Души» и грубѣе понимать ихъ, какъ видя въ нихъ сатиру. Но объ этомъ и о многомъ другомъ мы поговоримъ въ своемъ мѣстѣ подробнѣе; а теперь пусть скажетъ что-нибудь самъ авторъ:

...И опять по обѣимъ сторонамъ столбового пути пошли вновь писать версты, станціонные смотрители, колодцы, обозы, сѣрыя деревни съ самоварами, бабами и бойкимъ бородатымъ хозяиномъ, бѣгущимъ изъ постоялаго двора съ овсомъ въ рукѣ; пѣшеходъ въ протертыхъ лаптяхъ, плетущійся за 800 верстъ; городишки, выстроенные живьемъ, съ деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой; рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядныя и по ту сторону и по другую; помѣщичьи

рыдваны, солдатъ верхомъ на лошади, везущій зеленый ящикъ съ свинцовымъ горохомъ и подписью: «такой-то артиллерійской батареи»; зеленыя, желтыя и свѣжеразрытыя черныя полосы, мелькающія по степямъ; затянутая вдали пѣсня, сосновыя верхушки въ туманѣ, пропадающій далече колокольный звонъ, вороны, какъ мухи и горизонтъ безъ конца... Русь! Русь! Вижу тебя изъ моего чуднаго, прекраснаго далёка, тебя вижу: бѣдна природа въ тебѣ, не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія ея дива, вѣнчанныя дерзкими дивами искусства, города съ многооконными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, картинныя дерева и плющи, вросшіе въ домы, въ шумѣ и въ вѣчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотрѣть на громоздящіяся безъ конца надъ нею и въ вышинѣ каменныя глыбы; не блеснутъ сквозь наброшенныя одна на другую темныя арки, опутанныя виноградными сучьями, плющами и несмѣтными милліонами дикихъ розъ, не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣчныя линіи сіяющихъ горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города; ничто не обольститъ и не очаруетъ взора! Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что̀ въ ней, въ этой пѣснѣ? Что̀ зоветъ, и рыдаетъ, и хватаетъ за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ, стремятся въ душу и вьются около моего сердца Русь! Чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что̀ глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, что̀ ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?... И еще полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу осѣнило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онѣмѣла мысль передъ твоимъ пространствомъ. Что̀ пророчитъ сей необъятный просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему? И грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубинѣ

моей; неестественною властью освѣтились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль! Русь!...

...И какой же Русскій не любитъ быстрой ѣзды? Его ли душѣ, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чортъ побери все!» — его ли душѣ не любить ея? Ея ли не любить, когда въ ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, невѣдомая сила подхватила тебя на крыло къ себѣ — и самъ летишь, и все летитъ: летятъ версты, летятъ навстрѣчу купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летитъ съ обѣихъ сторонъ лѣсъ темными строями елей и сосенъ, съ топорнымъ стукомъ, и вороньимъ крикомъ, летитъ вся дорога, нивѣсть куда въ пропадающую даль — и что-то страшное заключено въ семъ быстромъ мельканьи, гдѣ не успѣваетъ означиться пропадающій предметъ; только небо надъ головою, да легкія тучи, да продирающійся мѣсяцъ — одни кажутся недвижны. Эхъ, тройка! птица-тройка! кто тебя выдумалъ? Знать, у бойкаго народа ты могла только родиться, въ той землѣ, что не любитъ шутить, а ровнемъ-гладнемъ разметнулась на полсвѣта, да и ступай считать версты, пока не зарябитъ тебѣ въ очи. И не хитрый, кажись, дорожный снарядъ, не желѣзнымъ схваченъ винтомъ, а наскоро живьёмъ, съ однимъ топоромъ да долотомъ, снарядилъ и собралъ тебя ярославскій расторопный мужикъ. Не въ нѣмецкихъ ботфортахъ ямщикъ: борода да рукавицы, и сидитъ чортъ знаетъ на чемъ; а привсталъ да замахнулся, да затянулъ пѣсню — кони вихремъ, спицы въ колесахъ смѣшались въ одинъ гладкій кругъ, только дрогнула дорога, да вскрикнулъ въ испугѣ остановившійся пѣшеходъ! И вонъ она понеслась, понеслась, понеслась!... И вотъ уже видно вдали, какъ что-то пылитъ и сверлитъ воздухъ...

Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымомъ дымится подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ и остается позади. Остановился пораженный Божьимъ чудомъ созерцатель: не молнія ли это, сброшенная съ неба? Что̀ значитъ это наводящее ужасъ движеніе? И что за невѣдомая сила заключена въ сихъ невѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ? Эхъ, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидятъ въ

вашихъ гривахъ? Чуткое ли ухо горитъ во всякой вашей жилкѣ? Заслышали съ вышины знакомую пѣсню, дружно и разомъ напрягли мѣдныя груди и, почти не тронувъ копытами земли, превратились въ однѣ вытянутыя линіи, летящія по воздуху, — и мчится вся вдохновленная Богомъ!... Русь, куда жъ несешься ты? Дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта! Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ; гремитъ и становится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что̀ ни есть на землѣ, и, косясь, постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства.

Грустно думать, что этотъ высокій лирическій паѳосъ, эти гремящіе, поющіе диѳирамбы блаженствующаго въ себѣ національнаго самосознанія, достойные великаго русскаго поэта, будутъ далеко не для всѣхъ доступны, что добродушное невѣжество отъ души станетъ хохотать отъ того, отъ чего у другого волосы станутъ на головѣ при священномъ трепетѣ... А между тѣмъ, это такъ, и иначе быть не можетъ. Высокая, вдохновенная поэма пойдетъ для большинства за «преуморительную шутку». Найдутся также и патріоты, о которыхъ Гоголь говоритъ на 468 страницѣ своей поэмы *), и которые, съ свойственною имъ проницательностью, увидятъ въ «Мертвыхъ Душахъ» злую сатиру, слѣдствіе холодности и нелюбви къ родному, къ отечественному, — они, которымъ такъ тепло въ нажитыхъ ими потихоньку домахъ и домикахъ, а, можетъ быть, и деревенькахъ — плодахъ благонамѣренной и усердной службы... Пожалуй, еще закричатъ и о личностяхъ... Впрочемъ, это и хорошо съ одной стороны: это будетъ лучшею критическою оцѣнкою

*) «Еще падетъ обвиненіе на автора со стороны такъ называемыхъ патріотовъ, которые спокойно сидятъ себѣ по угламъ и занимаются совершенно посторонними дѣлами, накопляютъ себѣ капитальцы, устраивая судьбу свою на счетъ другихъ» (Гоголь, «Мертвыя Души», глава XI).

поэмы... Что касается до насъ, мы, напротивъ, упрекнули-бы автора скорѣе въ излишествѣ непокореннаго спокойно-разумному созерцанію чувства, мѣстами слишкомъ юношески увлекающагося, а не въ недостаткѣ любви и горячности къ родному и отечественному... Мы говоримъ о нѣкоторыхъ — къ счастію, немногихъ, хотя, къ несчастію, и рѣзкихъ — мѣстахъ, гдѣ авторъ слишкомъ легко судитъ о національности чужихъ племенъ, и не слишкомъ скромно предается мечтамъ о превосходствѣ славянскаго племени надъ ними. Мы думаемъ, лучше оставлять всякому свое, и, сознавая собственное достоинство, умѣть уважать достоинство и въ другихъ... *).

* * *

Писатели риторической школы утверждаютъ, будто всѣ лица, созданныя Гоголемъ, отвратительны, какъ люди. Справедливо-ли это? — Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Возьмемъ на выдержку нѣсколько лицъ. Маниловъ пошлъ до крайности, сладокъ до приторности, пустъ и ограниченъ; но онъ не злой человѣкъ; его обманываютъ его люди, пользуясь его добродушіемъ; онъ — скорѣе ихъ жертва, нежели они его жертвы. Достоинство отрицательное — не споримъ; но если-бы авторъ придалъ къ прочимъ чертамъ Манилова еще жестокость обращенія съ людьми, тогда всѣ-бы закричали: что за гнусное лицо, ни одной человѣческой черты! Такъ уважимъ-же въ Маниловѣ и это отрицательное достоинство. Собакевичъ — антиподъ Манилова; онъ грубъ, неотесанъ, обжора, плутъ и кулакъ: но избы его мужиковъ построены хоть неуклюже, а прочно, изъ хорошаго лѣсу, и, кажется, его мужикамъ хорошо въ нихъ жить. Положимъ, причина этого не гуманность,

---

*) Изъ библіографической статьи «Похожденія Чичикова или Мертвыя Души. М. 1842».

а разсчетъ, но разсчетъ, предполагающій здравый смыслъ, разсчетъ, котораго, къ несчастью, не бываетъ иногда у людей съ европейскимъ образованіемъ, которые пускаютъ по міру своихъ мужиковъ на основаніи раціональнаго хозяйства. Достоинство опять отрицательное, но вѣдь если-бы его не было въ Собакевичѣ, Собакевичъ былъ-бы еще хуже: стало быть, онъ лучше при этомъ отрицательномъ достоинствѣ. Коробочка пошла и глупа и прижимиста, ея дѣвчонка ходитъ въ грязи босикомъ, но зато не съ распухшими отъ пощечинъ щеками, не сидитъ голодна, не утираетъ слезъ кулакомъ, не считаетъ себя несчастной, но довольна своей участью. Скажутъ: все это доказываетъ только то, что лица, созданныя Гоголемъ, могли-бы быть еще хуже, а не то, чтобъ они были хороши. Да мы и не говоримъ, что они хороши, а говоримъ только, что они не такъ дурны, какъ говорятъ о нихъ *).

„Ревизоръ“ и „Женитьба“.

Въ основаніи «Ревизора» лежитъ та же идея, что и въ «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»: въ томъ и другомъ произведеніи поэтъ выразилъ идею отрицанія жизни, идею призрачности, получившую подъ его художническимъ рѣзцомъ свою объективную дѣйствительность. Разница между ними не въ основной идеѣ, а въ моментахъ жизни, схваченныхъ поэтомъ, въ индивидуальностяхъ и положеніяхъ дѣйствующихъ лицъ. Во второмъ произведеніи мы видимъ пустоту, лишенную всякой дѣятельности; въ «Ревизорѣ» — пустоту, наполненную дѣятельностью мелкихъ страстей и мелкаго эгоизма. Чтобы произведенія его были художественны, т.-е.

*) Изъ статьи «Отвѣтъ Москвитянину».

представляли собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, онъ взялъ изъ жизни своихъ героевъ такой моментъ, въ которомъ сосредоточивалась вся цѣлостность ихъ жизни, ея значеніе, сущность, идея, начало и конецъ: въ первомъ — ссору двухъ пріятелей, во второмъ — ожиданіе и пріемъ ревизора. Все чуждое этой ссорѣ и этому ожиданію и пріему ревизора не могло войти въ повѣсть и комедію, и та, и другая начаты съ начала и кончены въ концѣ; намъ не нужно знать подробности дѣтства обоихъ друзей-враговъ, ни того, что было съ ними послѣ, какъ ихъ видѣлъ поэтъ: мы знаемъ это изъ повѣсти, потому что знаемъ этихъ героевъ съ головы до ногъ, знаемъ всю сущность ихъ жизни, вполнѣ исчерпанную поэтомъ въ описаніи ихъ ссоры. Такъ точно, на что намъ знать подробности жизни городничаго до начала комедіи? Ясно и безъ того, что онъ въ дѣтствѣ былъ ученъ на мѣдныя деньги, игралъ въ бабки, бѣгалъ по улицамъ, и какъ сталъ входить въ разумъ, то получилъ отъ отца уроки въ житейской мудрости, т.-е. въ искусствѣ нагрѣвать руки и хоронить концы въ воду. Лишенный въ юности всякаго религіознаго, нравственнаго и общественнаго образованія, онъ получилъ въ наслѣдство отъ отца и отъ окружающаго его міра слѣдующее правило вѣры и жизни: въ жизни надо быть счастливымъ, а для этого нужны деньги и чины, а для пріобрѣтенія ихъ — взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье передъ властями, знатностью и богатствомъ, ломанье и скотская грубость передъ низшими себя. Простая философія! Но замѣтьте, что въ немъ это не разврать, а его нравственное развитіе, его высшее понятіе о своихъ объективныхъ обязанностяхъ: онъ мужъ, слѣдовательно обязанъ прилично содержать жену; онъ отецъ, слѣдовательно долженъ дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партію и тѣмъ, устроивъ ея благосостояніе,

выполнить священный долгъ отца. Онъ знаетъ, что средства его для достиженія этой цѣли грѣшны передъ Богомъ; но онъ знаетъ это отвлеченно, головой, а не сердцемъ, и онъ оправдываетъ себя простымъ правиломъ всѣхъ пошлыхъ людей: «не я первый, не я послѣдній, всѣ такъ дѣлаютъ». Это практическое правило жизни такъ глубоко вкоренено въ немъ, что обратилось въ правило нравственности; онъ почелъ-бы себя выскочкой, самолюбивымъ гордецомъ, если-бы, хотя позабывшись, повелъ себя честно въ продолженіе недѣли. Да оно и страшно быть «выскочкой»: всѣ пальцы уставятся на васъ, всѣ голоса подымутся противъ васъ; нужна большая сила души и глубокіе корни нравственности, чтобъ бороться съ общественнымъ мнѣніемъ. И не Сквозники-Дмухановскіе увлекаются могучимъ водоворотомъ этой магической фразы «всѣ такъ дѣлаютъ» и, какъ Молоху, приносятъ ей въ жертву и таланты, и силы души, и внѣшнее благосостояніе. Нашъ городничій былъ не изъ бойкихъ отъ природы, и потому «всѣ такъ дѣлаютъ» было слишкомъ достаточнымъ аргументомъ для успокоенія его мозолистой совѣсти; къ этому аргументу присоединился другой, еще сильнѣйшій для грубой и низкой души: «жена, дѣти; казеннаго жалованья не станетъ на чай и сахаръ». Вотъ вамъ и весь Сквозникъ-Дмухановскій до начала комедіи. Что касается до формъ, въ какихъ онъ выражался и проявлялся до того, онѣ все тѣ-же, все его-же, какъ и во время комедіи. Такъ-же не трудно понять, что съ нимъ было и по окончаніи комедіи, какъ онъ дожилъ свой вѣкъ. Художественная обрисовка характера въ томъ и состоитъ, что если онъ данъ вамъ поэтомъ въ извѣстный моментъ своей жизни, вы уже сами можете разсказать всю его жизнь и до, и послѣ этого момента. Конецъ «Ревизора» сдѣланъ поэтомъ опять не произвольно, но вслѣдствіе разумной необходимости: онъ хотѣлъ показать намъ

Сквозника-Дмухановскаго всего, какъ онъ есть, и мы видѣли его всего, какъ онъ есть. Но тутъ скрывается еще другая, не менѣе важная и глубокая причина, выходящая изъ сущности пьесы. Въ комедіи, какъ выраженіи случайностей, все должно выходить изъ идеи случайностей и призраковъ и только черезъ это получать свою необходимость; почтенный нашъ городничій жилъ и вращался въ мірѣ призраковъ, но какъ у него необходимо были свои понятія о дѣйствительности, хотя и отвлеченныя, и сверхъ того самый основательный страхъ дѣйствительности, извѣстный подъ именемъ уголовнаго суда, то и должно было выйти комическое столкновеніе, какъ ошибка естественнаго влеченія сердца къ воровству и плутнямъ съ страхомъ наказанія за воровство и плутни, страхомъ, который увеличивался еще и нѣкоторымъ безпокойствомъ совѣсти. У страха глаза велики, говоритъ мудрая русская пословица: удивительно-ли, что глупый мальчишка, промотавшійся въ дорогѣ, трактирный денди, былъ принятъ городничимъ за ревизора? Глубокая идея! Не грозная дѣйствительность, а призракъ, фантомъ или, лучше сказать, тѣнь отъ страха виновной совѣсти должны были наказать человѣка призраковъ. Городничій Гоголя не каррикатура, не комическій фарсъ, не преувеличенная дѣйствительность и въ то-же время нисколько не дуракъ, но по своему очень и очень умный человѣкъ, который въ своей сферѣ очень дѣйствителенъ, умѣетъ ловко взяться за дѣло — своровать и концы въ воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опаснаго ему человѣка. Его приступы къ Хлестакову во второмъ актѣ — образецъ подъяческой дипломатіи. Итакъ, конецъ комедіи долженъ совершиться тамъ, гдѣ городничій узнаетъ, что онъ былъ наказанъ призракомъ, и что ему еще предстоитъ наказаніе со стороны дѣйствительности, или по крайней мѣрѣ новые хлопоты и убытки, чтобы увернуться

отъ наказанія со стороны дѣйствительности. И потому приходъ жандарма съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прекрасно оканчиваетъ пьесу и сообщаетъ ей всю полноту и всю самостоятельность особаго, замкнутаго въ самомъ себѣ міра. Въ художественномъ произведеніи нѣтъ ничего произвольнаго и случайнаго, но все необходимо и логически вытекаетъ изъ его идеи. Каждое лицо въ немъ, способствуя развитію главной идеи, въ то-же время есть и само по себѣ цѣль, живетъ своей особной жизнью. Далѣе мы изъ «Ревизора» разовьемъ подробно эту идею, а пока замѣтимъ мимоходомъ, что, вслѣдствіе этого взгляда на искусство, Мольеръ — такой-же художникъ, какъ Гомеровъ Тирсисъ — красавецъ и такъ-же похожъ на Шекспира, какъ титулярный совѣтникъ Поприщинъ на Фердинанда VIII, короля испанскаго. Конечно французы правы, что ставятъ Мольера выше Корнеля и Расина, онъ дѣйствительно былъ человѣкъ съ большимъ талантомъ, съ неистощимой живостью и остротою французскаго ума; онъ истощилъ все богатство разговорнаго французскаго языка, воспользовался всею его граціозной игривостью для выраженія смѣшныхъ противорѣчій; онъ подмѣтилъ и вѣрно схватилъ многія черты своего времени. Но онъ великъ въ частностяхъ, а не въ цѣломъ; но его дѣйствующія лица не дѣйствительныя существа, а каррикатуры, такъ-же, какъ его произведенія — сатиры, а не комедіи, такъ-же, какъ самъ онъ поэтъ мѣстами, а не художникъ, который потому художникъ, что творитъ цѣлое, стройное зданіе, выросшее изъ одной идеи. Напримѣръ, въ его «Скупомъ» Гарпагонъ конечно хорошъ, какъ мастерски-написанная каррикатура, но всѣ другія лица — резонёры, ходячія сентенціи о томъ, что скупость есть порокъ; ни одно изъ нихъ не живетъ своей жизнью и для самого себя, но всѣ придуманы, чтобы лучше оттѣнить собой героя quasi-комедіи. То-же и въ «Тартюфѣ»: всѣ лица присочинены для главнаго, и самъ Тартюфъ

такъ нехитеръ, что могъ обмануть только одного человѣка, и то потому, что этотъ одинъ — пошлый дуракъ. Завязка и развязка мнимыхъ комедій Мольера никогда не выходятъ изъ основной идеи и взаимныхъ отношеній дѣйствующихъ лицъ, но всегда придумывается, какъ рама для картины, не создается, какъ необходимая форма. Это оттого, что у него никогда не было идеи, и поэзія для него никогда не была сама себѣ цѣль, но средство исправлять общество осмѣяніемъ пороковъ. Какой это художникъ!

Многіе находятъ странной натяжкой и фарсомъ ошибку городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, тѣмъ болѣе, что городничій человѣкъ по-своему очень умный, т.-е. плутъ перваго разряда... Странное мнѣніе, или, лучше сказать, странная слѣпота, недопускающая видѣть очевидность! Причина этого заключается въ томъ, что у каждаго человѣка есть два зрѣнія — физическое, которому доступна только внѣшняя очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность, какъ необходимость, вытекающую изъ сущности идеи. Вотъ, когда у человѣка есть только физическое зрѣніе, а онъ смотритъ имъ на внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничаго ему кажется натяжкой и фарсомъ. Представьте себѣ воришку-чиновника такого, какимъ вы знаете почтеннаго Сквозника-Дмухановскаго: ему видѣлись во снѣ двѣ какія-то необыкновенныя крысы, какихъ онъ никогда не видывалъ, — черныя, неестественной величины — пришли, понюхали и пошли прочь. Важность этого сна для послѣдующихъ событій была уже кѣмъ-то очень вѣрно замѣчена. Въ самомъ дѣлѣ, обратите на него все ваше вниманіе: имъ открывается цѣпь призраковъ, составляющихъ дѣйствительность комедіи. Для человѣка съ такимъ образованіемъ, какъ нашъ городничій, сны — мистическая сторона жизни, и чѣмъ они несвязнѣе и безсмысленнѣе, тѣмъ для него имѣютъ большее и таинственнѣйшее

значеніе. Если-бы послѣ этого сна ничего важнаго не случилось, онъ могъ-бы и забыть его; но какъ нарочно на другой день онъ получаетъ отъ пріятеля увѣдомленіе, что «отправился инкогнито изъ Петербурга чиновникъ съ секретнымъ предписаніемъ обревизовать въ губерніи все, относящееся по части гражданскаго управленія». Сонъ въ руку! Суевѣріе еще болѣе запугиваетъ и безъ того запуганную совѣсть; совѣсть усиливаетъ суевѣріе. Обратите особенное вниманіе на слова «инкогнито» и «съ секретнымъ предписаніемъ». Петербургъ есть таинственная страна для нашего городничаго, міръ фантастическій, котораго формъ онъ не можетъ и не умѣетъ себѣ представить. Нововведенія въ юридической сферѣ, грозящія уголовнымъ судомъ и ссылкою за взяточничество и казнокрадство, еще болѣе усугубляютъ для него фантастическую сторону Петербурга. Онъ уже допытывается у своего воображенія, какъ пріѣдетъ ревизоръ, чѣмъ онъ прикинется и какія пули онъ будетъ отливать, чтобы развѣдать правду. Слѣдуютъ толки у честной компаніи объ этомъ предметѣ. Судья-собачникъ, который беретъ взятки борзыми щенками и потому не боится суда, который на своемъ вѣку прочелъ пять или шесть книгъ, и потому нѣсколько вольнодумецъ, находитъ причину присылки ревизора, достойную своего глубокомыслія и начитанности, говоря, что «Россія хочетъ вести войну, и потому министерія нарочно отправляетъ чиновника, чтобы узнать, нѣтъ-ли гдѣ измѣны». Городничій понялъ нелѣпость этого предположенія и отвѣчаетъ: «Гдѣ нашему уѣздному городишкѣ? Если-бъ онъ былъ пограничнымъ, еще-бы какъ-нибудь возможно предположить, а то стоитъ чортъ знаетъ гдѣ — въ глуши... Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доѣдешь». За симъ онъ даетъ совѣтъ своимъ сослуживцамъ быть поосторожнѣе и быть готовыми къ пріѣзду ревизора; вооружается противъ

мысли о грѣшкахъ, т.-е. взяткахъ, говоря, что «нѣтъ человѣка, который-бы не имѣлъ за собой какихъ-нибудь грѣховъ», что «это уже такъ самимъ Богомъ устроено», и что «волтеріанцы напрасно противъ этого говорятъ»; слѣдуетъ маленькая перебранка съ судьей о значеніи взятокъ; продолженіе совѣтовъ; ропотъ противъ проклятаго инкогнито. «Вдругъ заглянетъ; а! вы здѣсь, голубчики! А кто, скажетъ, здѣсь судья? — Тяпкинъ-Ляпкинъ. — А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній? — Земляника. — А подать сюда Землянику! Вотъ что худо!»... Въ самомъ дѣлѣ, худо! Входитъ наивный почтмейстеръ, который любитъ распечатывать чужія письма, въ надеждѣ найти въ нихъ разные этакіе пассажи... назидательные даже... лучше, нежели въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Городничій даетъ ему плутовскіе совѣты «немножко распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узнать — не содержится-ли въ немъ какого-нибудь донесенія или просто переписки». Какая глубина въ изображеніи! Вы думаете, что фраза «или просто переписки» безсмыслица, или фарсъ со стороны поэта: нѣтъ, это неумѣніе городничаго выражаться, какъ скоро онъ хоть немного выходитъ изъ родныхъ сферъ своей жизни. И таковъ языкъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ въ комедіи! Наивный почтмейстеръ, не понимая въ чемъ дѣло, говоритъ, что онъ и такъ это дѣлаетъ. «Я радъ, что вы это дѣлаете», отвѣчаетъ плутъ-городничій простяку-почтмейстеру: «это въ жизни хорошо», и видя, что съ нимъ обиняками немного возьмешь, напрямки проситъ его — всякое извѣстіе доставлять къ нему, а жалобу или донесеніе просто задерживать. Судья потчуетъ его собаченкой, но онъ отвѣчаетъ, что ему теперь не до собакъ и зайцевъ: «У меня въ ушахъ только и слышно, что инкогнито проклятое; такъ и ожидаешь, что вдругъ отворятся двери и войдетъ...

И въ самомъ дѣлѣ, двери отворяются съ шумомъ,

и вбѣгаютъ Петры Ивановичи Бобчинскій и Добчинскій. Это городскіе шуты, уѣздные сплетники; ихъ всѣ знаютъ, какъ дураковъ, и обходятся съ ними или съ видомъ презрѣнія, или съ видомъ покровительства. Они безсознательно это чувствуютъ и потому изо всей мочи передъ всѣми подличаютъ, и чтобы только ихъ терпѣли, какъ собакъ и кошекъ въ комнатѣ, всѣмъ подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уѣздныхъ городковъ. Вообще съ ними обращаются безъ чиновъ, какъ съ собаками и кошками: надоѣдятъ — выгоняютъ. Ихъ дни проходятъ въ шатаньи и собираньи новостей и сплетней. Обогатясь подобной находкой, они вдругъ выростаютъ сознаніемъ своей важности и уже бѣгутъ къ знакомымъ смѣло, въ увѣренности хорошаго пріема.

«Чрезвычайное происшествіе!» кричитъ Бобчинскій. «Неожиданное извѣстіе!» восклицаетъ Добчинскій, вбѣгая въ комнату городничаго, гдѣ всѣ настроены на одинъ ладъ, а особливо самъ городничій весь сосредоточенъ на idée fixe. «Что такое?» — «Приходимъ въ гостинницу» — восклицаетъ Добчинскій. — «Приходимъ въ гостинницу» — перебиваетъ его Бобчинскій. Начинается разсказъ самый обстоятельный, самый подробный, отъ начала до конца: зачѣмъ пошли въ гостинницу, гдѣ, какъ, когда, при какихъ обстоятельствахъ, словомъ, по всѣмъ правиламъ топиковъ или общихъ мѣстъ старинныхъ романовъ. Чудаки перебиваютъ другъ друга: каждому хочется насладиться своей важностью, быть центромъ общаго вниманія, а вмѣстѣ и занять себя, наполнить свою пустоту пустымъ содержаніемъ. Забавнѣе всего то, что имъ самимъ хочется какъ можно скорѣе добраться до эффектнаго конца, а между тѣмъ и хочется продолжить свое торжество и разсказать все сначала и подробнѣе. Бобчинскій овладѣваетъ разсказомъ, говоря, что у Добчинскаго «и зубъ

со свистомъ, и слога такого нѣту», и Добчинскому осталось только помогать жестами разсказу счастливаго Бобчинскаго, изрѣдка обѣгать его нѣкоторыми фразами, которыя тотъ снова перехватываетъ и продолжаетъ свой разсказъ. Наконецъ, дошли до «молодого человѣка недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ». Представьте себѣ, какое впечатлѣніе долженъ былъ произвести этотъ «молодой человѣкъ недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ» на воображеніе городничаго, уже безъ того настроенное ожиданіемъ проклятаго «инкогнито!» И вотъ наконецъ Бобчинскій передаетъ донесеніе трактирщика Власа: «Молодой человѣкъ, чиновникъ, ѣдущій изъ Петербурга — Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, а ѣдетъ въ Саратовскую губернію, и чрезвычайно странно себя аттестуетъ: больше полуторы недѣли живетъ, дальше не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и денегъ хоть-бы копѣйку заплатилъ». Слѣдуетъ остроумная смѣтка проницательнаго Бобчинскаго: «съ какой стати сидѣть ему здѣсь, когда ему дорога лежитъ Богъ знаетъ куда — въ Саратовскую губернію? Это вѣрно не кто другой, какъ самый тотъ чиновникъ». Не естественъ-ли послѣ этого ужасъ городничаго?

Городничій. Что вы говорите? не можетъ быть! Да нѣтъ, это вамъ такъ показалось. Это кто-нибудь другой.

Бобчинскій. Помилуйте, какъ не онъ! И денегъ не платитъ, и не ѣдетъ — кому же быть, какъ не ему? И съ какой стати жилъ бы онъ здѣсь, когда ему прописана подорожная въ Саратовъ.

Понимаете-ли вы хотя въ возможности эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? на какихъ законахъ разума основаны они? Вотъ онъ — вотъ источникъ комическаго и смѣшного! Видите-ли вы, какая драма, какое столкновеніе противоположныхъ интересовъ, проистекающихъ изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ взаимныхъ отношеній, выразилось въ

этихъ двухъ монологахъ! Городничій уже вѣритъ страшному извѣстію, и какъ утопающій хватается за соломинку, такъ онъ пустымъ вопросомъ хочетъ какъ-бы отдалить на время сознаніе горькой истины, чтобы дать себѣ время опомниться; Бобчинскій, напротивъ, всѣми силами старается поддержать и въ другихъ, и въ самомъ себѣ увѣренность въ справедливости извѣстія, которое вдругъ придало ему такую важность. Да, въ этой комедіи нѣтъ ни одного слова, строгой и непреложной необходимости котораго нельзя-бъ было доказать изъ самой сущности идеи и дѣйствительности характеровъ. Но вотъ Бобчинскій, по тѣмъ-же причинамъ, какъ и его достойный другъ, и съ такой-же основательностью и очевидностью подаетъ голосъ о несомнѣнности факта:

«Онъ, онъ!... ей-Богу, онъ!... Я ставлю Богъ знасть что... Такой наблюдательный: все обсмотрѣлъ и по угламъ вездѣ, и даже заглянулъ въ тарелки наши полюбопытствовать, что ѣдимъ. Такой осмотрительный, что Боже сохрани...»

Послѣ такого довода нѣтъ больше сомнѣнія! Такой наблюдательный, что даже въ тарелки заглядывалъ! Боже мой, да если-бы въ эту минуту бѣдному городничему сказали о наблюдательности его кучера, онъ принялъ-бы его за ревизора, отличительнымъ признакомъ котораго въ его испуганномъ воображеніи непремѣнно должна быть наблюдательность...

Видите-ли, съ какимъ искусствомъ поэтъ умѣлъ завязать эту драматическую интригу въ душѣ человѣка, съ какой поразительной очевидностью умѣлъ онъ представить необходимость ошибки городничаго? Если и теперь не видите — перечтите комедію или, что еще лучше — посмотрите ее на сценѣ; если и тутъ не увидите — такъ это уже вина вашего зрѣнія, а мы не беремъ на себя трудной обязанности научить слѣпого безошибочно судить о цвѣтахъ. Если

нужны еще доказательства, не изъ сущности идеи произведенія почерпнутыя, а внѣшнія, практическія, разсудочныя и резонерскія, безъ которыхъ многіе люди ничего не понимаютъ, замѣтимъ имъ, что подобные случаи часто бываютъ въ жизни: сосредоточьтесь на идеѣ, отъ которой зависитъ ваша участь, — вы начнете говорить о ней съ первымъ встрѣчнымъ на улицѣ, принявъ его за своего пріятеля, къ которому вы шли говорить о ней. По крайней мѣрѣ это очень возможно.

Пропускаемъ остальную половину перваго акта — отчаяніе городничаго при мысли, что ревизоръ въ полторы недѣли могъ узнать о невинно-высѣченной имъ унтеръ-офицерской женѣ, о покражѣ у арестантовъ провизіи, о нечистотѣ на улицахъ; его радость при мысли, что ревизоръ — молодой человѣкъ; его распоряженія; сцену съ квартальными; просьбу Добчинскаго взять его съ собой или хоть позволить «бѣжать за дрожками пѣтушкомъ, пѣтушкомъ», чтобы только посмотрѣть въ щелочку: «такъ, знаете, изъ дверей только увидѣть, какъ тамъ онъ... больше сущность и поступки его, а я ничего»; замѣчаніе городничаго квартальному, что онъ «не по чину беретъ»; сцену съ частнымъ приставомъ, донесшимъ о квартальномъ Держимордѣ, который поѣхалъ, по случаю драки, для порядка, и воротился пьянъ; дальнѣйшія распоряженія городничаго; его животные переходы отъ раскаянія къ ругательствамъ на купцовъ, недогадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и видѣли, что старая уже не годится; его обѣщаніе поставить такую свѣчу, какой никто еще не ставилъ, и угрозу «на каждаго бестію-купца наложить по три пуда воска», когда бѣда минетъ; сцену Анны Андреевны, разспрашивающей мужа за дверью о томъ, съ усами-ли ревизоръ и съ какими усами; брань ея на дочь, которая своей кокетливостью при туалетѣ лишила ее возможности поскорѣе разузнать о ревизорѣ: эту пикировку съ до-

черью, въ которой поблеклая кокетка уѣзднаго города представляется какъ-бы видящей въ молодой дочери свою соперницу: скажемъ коротко, что во всемъ этомъ, какъ и въ предшествовавшемъ, поэтъ остался вѣренъ своей идеѣ, не измѣнилъ ей ни словомъ, ни чертой; что все это больше нежели портретъ или зеркало дѣйствительности, но болѣе походитъ на дѣйствительность, нежели дѣйствительность походитъ сама на себя, ибо все это — художественная дѣйствительность, замыкающая въ себѣ всѣ частныя явленія подобной дѣйствительности...

Передъ вами Осипъ — герой лакейской природы, представитель цѣлаго рода безчисленныхъ явленій, изъ которыхъ онъ ни на одно не похожъ, какъ двѣ капли воды, но изъ которыхъ каждое похоже на него, какъ двѣ капли воды. Въ своемъ большомъ монологѣ, гдѣ между прочимъ читаетъ онъ нравоученіе самому себѣ для своего барина, онъ высказываетъ всего себя, свои отношенія къ барину и, наконецъ, самого барина. Вы видите деревенскаго слугу, который, поживъ въ Петербургѣ, постигъ достоинство столичной жизни и галантерейнаго обращенія, но, по пословицѣ «сколько волка ни корми, онъ все въ лѣсъ глядитъ», предпочитаетъ мирную деревенскую жизнь треволненіямъ столицы, въ которой худо безъ денегъ, иной разъ славно наѣшься, а въ другой чуть не лопнешь съ голода. Въ истинно-художественномъ произведеніи всегда видно, какъ взаимныя отношенія персонажей дѣйствуютъ на самый ихъ характеръ, и потому вамъ тотчасъ станетъ ясно, что Осипъ — грубіянъ столько-же по натурѣ, сколько и по презрѣнію къ своему барину, котораго глупость онъ понимаетъ по-своему. Этотъ баринъ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими. Онъ — франтъ и щеголь, потому что дуракъ и столичный житель; глупцы скорѣе всего перенимаютъ внѣшнія стороны высшей ихъ жизни. Отецъ содержитъ его

прилично, но онъ мотаетъ батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславію, а потомъ спускаетъ платье на рынкѣ до новой присылки денегъ. «Онъ дѣйствуетъ и говоритъ безъ всякаго соображенія: не въ состояніи остановить постояннаго вниманія на какой-нибудь мысли; рѣчь его отрывиста, и слова вылетаютъ совершенно неожиданно». Онъ слышалъ, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется литературой, и въ его пустой головѣ въ безпорядкѣ улеглись имена сочиненій и названія журналовъ и сочинителей: Брамбеусъ и Смирдинъ, «Библіотека для чтенія» и «Сумбека», «Юрій Милославскій» и «Фенелла». Онъ — денди не по одному модному платью, но и по манерамъ, денди трактирный, одна изъ тѣхъ фигуръ, которыя красуются на вывѣскахъ московскихъ трактировъ, цирюленъ и портныхъ. Въ Пензѣ его обыгралъ начистую пѣхотный капитанъ: онъ за это досадуетъ на случай и несчастье, но не на капитана, къ которому онъ благоговѣетъ, какъ диллетантъ къ художнику, потому что, «что ни говори, а удивительно, бестія, штосы срѣзываетъ: всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣлъ и все обобралъ — славно играетъ!» Великое достоинство въ его глазахъ!

Посмотрите, какъ робко и какими косвенными вопросами хочетъ онъ узнать отъ Осипа, есть-ли у нихъ табакъ: о, онъ боится его нравоученій и его грубости! Посмотрите, какъ онъ подличаетъ передъ трактирнымъ прислужникомъ, справляясь о его здоровьѣ и о числѣ пріѣзжающихъ въ ихъ трактиръ, и какъ ласково проситъ его поторопиться принести обѣдать! Какая сцена, какія положенія, какой языкъ! Гдѣ подсмотрѣлъ, гдѣ подслушалъ поэтъ эти сцены и этотъ языкъ? И почему только одинъ онъ такъ подсмотрѣлъ и такъ подслушалъ? Можетъ быть потому, что онъ подсматривалъ и подслушивалъ какъ и всѣ, то-есть, не подсматривая

и не подслушивая, да въ фантазіи-то его это отразилось не такъ, какъ у всѣхъ. А вѣдь и эти всѣ — тоже поэты и художники, и какъ блины пекутъ и трагедіи, и драмы, и оперы, и комедіи, и водевили...

Входитъ Осипъ и говоритъ барину, что «тамъ чего-то пріѣхалъ городничій, освѣдомляется и спрашиваетъ о васъ», — новое комическое столкновеніе! У Хлестакова воображеніе настроено на мысли о жалобѣ трактирщика, о тюрьмѣ... Онъ испугался тюрьмы, но утѣшился мыслью, что если поведутъ его туда благороднымъ образомъ, то ничего; но мысль о двухъ купеческихъ дочеряхъ и офицерахъ, которыхъ онъ видѣлъ на улицѣ, снова приводитъ его въ отчаяніе.... Можете представить, въ какой настроенности его воображенія входитъ къ нему городничій... Въ высшей степени комическое положеніе!... Но мы пропускаемъ эту превосходную сцену — она говоритъ сама за себя, а для кого нѣма, тѣмъ немного помогутъ наши толкованія. Скажемъ только, что въ этой сценѣ городничій является во всемъ своемъ блескѣ: съ одной стороны, какъ чуждый фантастическому для него понятію петербургскаго чиновника и весь сосредоточенный на мысли о «проклятомъ инкогнито», онъ всѣ глупости Хлестакова принимаетъ за тонкія штуки, а съ другой — преловко и прехитро выкидываетъ свои тонкія штуки и улаживаетъ дѣло.

Третье дѣйствіе, а Анна Андреевна все еще у окна съ своей дочерью, — въ высшей степени комическая черта! Тутъ не одно праздное любопытство пустой женщины: ревизоръ молодъ, а она — кокетка, если не больше... Дочь говоритъ, что кто-то идетъ — мать сердится: «Гдѣ идетъ? у тебя вѣчно какія-нибудь фантазіи; ну, да, идетъ». Потомъ вопросъ, кто идетъ: дочь говоритъ, что это Добчинскій — мать опять не соглашается и опять упрекаетъ дочь ни въ чемъ: «Какой Добчинскій? тебѣ

всегда вдругъ вообразится этакое! совсѣмъ не Добчинскій. Эй, вы, ступайте сюда! скорѣе!» Наконецъ обѣ разглядываютъ; дочь говоритъ: «А что? а что, маменька? Видите, что Добчинскій!» Мать отвѣчаетъ: «Ну, да, Добчинскій, теперь я вижу — изъ чего-же ты споришь!» Можно-ли лучше поддержать достоинство матери, какъ не быть всегда правой передъ дочерью и не дѣлая всегда дочь виноватой передъ собой? Какая сложность элементовъ выражена въ этой сценѣ: уѣздная барыня, устарѣлая кокетка, смѣшная мать! Сколько оттѣнковъ въ каждомъ ея словѣ, какъ значительно, необходимо каждое ея слово! Вотъ что̀ значитъ проникать въ таинственную глубину организаціи предмета, и во внѣшность выводить то, что кроется въ самыхъ недоступныхъ для зрѣнія тканяхъ и нервахъ внутренней организаціи! Поэтъ заставляетъ насквозь видѣть эти характеры и внутри находить причины всего внѣшняго, являющагося. Сцена Анны Андреевны съ Добчинскимъ: та и другой являются тутъ во всей своей призрачности. Она спрашиваетъ его, тотъ-ли это ревизоръ, о которомъ увѣдомляли ея мужа. «Настоящій: я это первый открылъ вмѣстѣ съ Петромъ Ивановичемъ». Потомъ онъ пересказываетъ свиданіе городничаго съ Хлестаковымъ такъ, какъ оно отразилось въ его понятіи и какъ должно было отразиться въ понятіи городничаго, и заключаетъ, что онъ тоже «перетрухнулъ немножко». «Да вамъ-то чего бояться — вѣдь вы не служите?» спрашиваетъ она его. «Да такъ, знаете, когда вельможа говоритъ, то чувствуешь страхъ», отвѣчалъ простакъ. На вопросъ городничихи о наружности ревизора, онъ его описываетъ такъ, какъ онъ отразился въ его узкой головѣ. «Молодой, молодой человѣкъ: лѣтъ двадцати-трехъ; а говоритъ совершенно какъ старикъ. Извольте, говоритъ, я поѣду и туда, и туда... (размахиваетъ руками) такъ это все славно». Видите-ли въ этихъ безсмысленныхъ сло-

вахъ немножко-идіотское неумѣніе отдать себѣ отчетъ въ собственномъ впечатлѣніи и выразить его словомъ? Далѣе: «Я, говоритъ, и написать, и почитать люблю, но мѣшаетъ, что въ комнатѣ, говоритъ, немножко темно». Видите-ли изъ этого, что чѣмъ Хлестаковъ былъ пошлѣе, безсвязнѣе въ своихъ фразахъ, трактирнѣе въ своихъ манерахъ, тѣмъ большее придавалъ онъ себѣ значеніе не только въ глазахъ Добчинскаго, но и самого городничаго? Есть люди, которые почитаютъ въ книгахъ глубокимъ и мудрымъ все, чего они не понимаютъ; приведите къ нимъ какого-нибудь глупца или ловкаго мистификатора, какъ автора этой умной книжки: чѣмъ нелѣпѣе онъ будетъ выражаться, тѣмъ больше они будутъ ему удивляться. Для городничаго ревизоръ былъ слишкомъ премудрой книгой, потому уже только, что онъ ревизоръ — съ этой точки зрѣнія его трудно было сдвинуть, и потому все, что Хлестаковъ ни вралъ послѣ къ ясной своей невыгодѣ, только еще болѣе поддерживало городничаго въ его заблужденіи, вмѣсто того чтобы вывести изъ него и открыть ему глаза.

Сцена матери и дочери, совѣтующихся о туалетѣ, чтобы ихъ не осмѣяла какая-нибудь «столичная штучка», и споръ о палевомъ платьѣ, которое, по мнѣнію матери, къ лицу ей, такъ какъ у ней самые темные глаза, потому что «она и гадаетъ всегда на трефовую даму», и возраженіе дочери, «что къ ней не идетъ цвѣтное платье, потому что она больше червонная дама» — эта сцена и этотъ споръ окончательно и рѣзкими чертами обрисовываетъ сущность, характеры и взаимныя отношенія матери и дочери, такъ что послѣдующее уже нисколько не удивляетъ въ нихъ васъ, какъ не удивляетъ сумма четырехъ, вышедшая изъ умноженія двухъ на два. Вотъ въ этомъ-то состоитъ типизмъ изображенія: поэтъ беретъ самыя рѣзкія, самыя характеристическія черты живописуемыхъ имъ лицъ, вы-

пуская всѣ случайныя, которыя не способствуютъ оттѣненію ихъ индивидуальности. Но онъ выбираетъ не по сортировкѣ, не по соображенію и сличенію болѣе годныхъ съ менѣе годными, онъ даже и не думаетъ, не заботится объ этомъ, но все это выходитъ у него само собою, потому что изображаемыя имъ на бумагѣ лица прежде всего изобразились у него въ фантазіи, и изобразились во всей полнотѣ своей и цѣлости, со всѣми родовыми примѣтами, отъ цвѣта волосъ до родимаго пятнышка на лицѣ, отъ звука голоса до покроя платья. Положить ихъ на бумагу — для него уже актъ второстепенный, почти механическій трудъ. И посмотрите, какъ легко у него все выходитъ: въ этой коротенькой, какъ-бы слегка и небрежно набросанной сценѣ вы видите прошедшее, настоящее и будущее, всю исторію двухъ женщинъ, а между тѣмъ она вся состоитъ изъ спора о платьѣ, и вся какъ-бы мимоходомъ и нечаянно вырвалась изъ-подъ пера поэта!

Сценка явленія Хлестакова въ домѣ городничаго въ сопровожденіи свиты изъ городского чиновничества и самого Сквозника-Дмухановскаго, представленіе Анны Андреевны и Марьи Антоновны, любезничанье и вранье Хлестакова — каждое слово, каждая черта во всемъ этомъ, общность и характеръ всего этого — торжество искусства, чудная картина, написанная великимъ мастеромъ, никогда не жданное, никѣмъ не подозрѣвавшееся изображеніе всѣми видѣннаго, всѣмъ знакомаго, и, несмотря на то, всѣхъ удивившаго и поразившаго своей новостью и небывалостью!... Здѣсь характеръ Хлестакова — этого второго лица комедіи — развертывается вполнѣ, раскрывается до послѣдней видимости своей микроскопической мелкости и гигантской пошлости. Къ сожалѣнію это лицо понятно меньше прочихъ лицъ, и еще не нашло для себя достойнаго артиста на театрахъ обѣихъ столицъ. Многимъ характеръ

Хлестакова кажется рѣзокъ, утрированъ, если можно такъ выразиться, его болтовня, напоминающая не любо, не слушай — врать не мѣшай, — изысканно-неправдоподобна. Но это потому, что всякій хочетъ видѣть, и слѣдовательно видитъ въ Хлестаковѣ свое понятіе о немъ, а не то, которое существенно заключается въ немъ. Хлестаковъ является къ городничему въ домъ послѣ внезапной перемѣны его судьбы: не забудьте, что онъ готовился идти въ тюрьму, а между тѣмъ нашелъ деньги, почетъ, угощеніе, что онъ, послѣ невольнаго и мучительнаго голода, наѣлся досыта, отчего и безъ вина можно придти въ какое-то полупьяное разслабленіе, а онъ еще и подпилъ. Какъ и отчего произошла эта внезапная перемѣна въ его положеніи, отчего передъ нимъ стоятъ всѣ навытяжку — ему до этого нѣтъ дѣла; чтобы понять это, надо думать, а онъ не умѣетъ думать, онъ влечется, куда и какъ толкаютъ его обстоятельства. Въ его полупьяной головѣ, при обремененномъ желудкѣ, все перевдоилось, все перемѣстилось — и Смирдинъ съ Брамбеусомъ, и «Библіотека» съ «Сумбекою», и Маврушка съ посланниками. Слова вылетаютъ у него вдохновенно; оканчивая послѣднее слово фразы, онъ не помнитъ ея перваго слова. Когда онъ говорилъ о своей значительности, о связяхъ съ посланниками, — онъ не зналъ, что онъ вретъ, и нисколько не думалъ обманывать: сказавъ первую фразу, онъ продолжалъ, какъ-бы противъ воли, какъ камень, толкнутый съ горы, катится уже не посредствомъ силы, а собственной тяжестью. «Меня даже хотѣли сдѣлать вице-канцлеромъ (зѣваетъ во всю глотку). О чемъ, бишь, я говорилъ?» Если-бы ему сказали, что онъ говорилъ о томъ, какъ отецъ сѣкалъ его розгами, онъ навѣрное уцѣпился-бы за эту мысль и началъ-бы не говорить, а какъ-будто продолжать, что это очень больно, что онъ всегда кричалъ, но что «при нынѣшнемъ образованіи этимъ ничего не возьмешь».

Многіе почитаютъ Хлестакова героемъ комедіи, главнымъ его лицомъ. Это несправедливо. Хлестаковъ является къ комедіи не самъ собою, а совершенно случайно, мимоходомъ, и притомъ не самимъ собою, а ревизоромъ. Но кто его сдѣлалъ ревизоромъ? страхъ городничаго, слѣдовательно онъ — созданіе испуганнаго воображенія городничаго, призракъ, тѣнь его совѣсти. Поэтому онъ является во второмъ дѣйствіи и исчезаетъ въ четвертомъ, — и никому нѣтъ нужды знать, куда онъ поѣхалъ и что съ нимъ стало: интересъ зрителя сосредоточенъ на тѣхъ, страхъ которыхъ создалъ этотъ фантомъ, и комедія была-бы не кончена, если-бы окончилась четвертымъ актомъ. Герой комедіи — городничій, какъ представитель этого міра призраковъ.

Въ «Ревизорѣ» нѣтъ сценъ лучшихъ, потому что нѣтъ худшихъ, но всѣ превосходны, какъ необходимыя части, художественно-образующія собой единое цѣлое, округленное внутреннимъ содержаніемъ, а не внѣшней формой, и потому представляющее собой особенный и замкнутый въ самомъ себѣ міръ. Скрѣпя сердце, пропускаемъ VII, VIII IX и X явленія третьяго акта и остановимся только на оцѣпенѣніи городничаго, какъ-бы кто ударилъ его обухомъ по головѣ: «такъ совсѣмъ ошеломило! страхъ такой напалъ: еще такого важнаго человѣка никогда не видалъ (задумывается); съ министрами играетъ и во дворецъ ѣздитъ... такъ вотъ, право, чѣмъ больше думаешь... чортъ его знаетъ, не знаешь, что и дѣлается въ головѣ, какъ будто стоишь на какой-нибудь колокольнѣ или тебя хотятъ повѣсить...» Это говоритъ уѣздный чиновникъ, служака, начавшій службу по-старинному, что называлось «тянуть лямку»; а вотъ голосъ чиновницы новаго времени, которая всегда образованнѣе своего мужа: «А я никакой совершенно не ощутила робости, я просто видѣла въ немъ образованнаго, свѣтскаго.

высшаго тона человѣка, а о чинахъ его мнѣ и нужды нѣтъ». Безподобна и эта выходка философствующаго городничаго: «Чудно все завелось теперь на свѣтѣ: народъ все тоненькій, поджаристый такой. Никакъ не узнаешь, что онъ важная особа». Это голосъ стараго чиновника, врасплохъ застигнутаго новымъ временемъ: онъ уже и прежде слышалъ, а теперь собственными глазами удостовѣрился, что нынче де уже по головѣ, а не по брюху дѣлаются важными особами.

Въ первыхъ сценахъ четвертаго акта Хлестаковъ бесѣдуетъ съ самимъ собой и является все тѣмъ-же, все самимъ-же собой, и не измѣняетъ себѣ ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ. Послѣ дивныхъ сценъ съ чиновниками города, у которыхъ онъ набралъ денегъ, онъ еще въ первый разъ догадывается, что его принимаютъ не за то, что онъ есть, а за великаго государственнаго человѣка. Причина этого явленія и могущія выйти изъ него слѣдствія не въ силахъ остановить на себѣ его вниманія. Это одна изъ тѣхъ головъ, которыя не въ состояніи переварить самаго простого понятія и глотаютъ не жевавши. Онъ очень радъ, что его приняли за важную особу: «Я это люблю. Мнѣ нравится, если меня почитаютъ за важнаго человѣка. Въ моей физіономіи точно есть что-то такое внушающее...» и не докончилъ, сколько потому, что эта фраза слышанная, а не своя, столько и потому, что вдругъ перепрыгнулъ къ другому предмету... «Это съ ихъ стороны тоже благородная черта, что они готовы дать взаймы денегъ». Видите-ли: его приняли за важную особу — оттого, что «у него въ физіономіи есть что-то внушающее»; это должная дань его личнымъ достоинствамъ, а не другая, болѣе важная для чиновниковъ причина; что ему надавали денегъ, это не взятки, а заемъ, и онъ въ ту минуту, какъ говоритъ, вполнѣ убѣжденъ, что возвратитъ имъ свой долгъ. Но Осипъ умнѣе

своего барина: онъ все понимаетъ и ласково тоже, какъ-будто мимоходомъ, совѣтуетъ ему уѣхать, говоря: «Погуляли здѣсь два денька, ну — и довольно; что съ ними связываться! плюньте на нихъ! неровенъ часъ: какой-нибудь другой наѣдетъ», и обольщаетъ его тройкой лихихъ лошадей съ колокольчикомъ. Эта приманка, равно какъ и мимоходомъ сказанное предостереженіе, что «батюшка будетъ гнѣваться за то, что такъ замѣшкались», и рѣшила Хлестакова послѣдовать благоразумному совѣту. Слѣдуетъ сцена съ купцами, въ которой вы видите, какъ на ладони, это купечество уѣзднаго городка, которое выучилось кое-какъ зашибать деньгу, а еще не обрилось и не умылось, чтобы отъ его бородки не пахло капустой; которое плохо знаетъ грамоту и живетъ на «авось», т.-е. гдѣ выторговалъ, а гдѣ надулъ, и съ которымъ по всему этому городничій обходился безъ чиновъ: «схватитъ за бороду, говоритъ, ахъ ты, татаринъ»; которое, наконецъ, любитъ коли давать, такъ давать — возьми и подносикъ, и головку сахара, и кулечекъ съ винами, и не триста, — что триста! — пятьсотъ, только дѣло сдѣлай. Языкъ неподражаемо вѣренъ. Хлестаковъ опять не измѣняетъ себѣ — беретъ взаймы, о взяткахъ слышать не хочетъ, и если гдѣ приходитъ въ маленькое недоумѣніе, тамъ толкаетъ его Осипъ и заставляетъ не быть безъ дѣйствія. Но вотъ входитъ Марья Антоновна: она въ комнатѣ чужого молодого человѣка ищетъ маменьки... Ея приходъ толкаетъ Хлестакова, т.-е. заставляетъ дѣлать то, чего онъ не думалъ дѣлать. Онъ — франтъ, она — «барышня»: слѣдовательно ему должно волочиться за нею. Что̀ изъ этого выйдетъ — такая мысль не можетъ прійти въ его пустую и легкую голову, которая дѣйствуетъ подъ вліяніемъ внѣшняго обстоятельства, подъ впечатлѣніемъ настоящей минуты. «Барышня» глупа, пуста и пошла, но она уже прочла нѣсколько романовъ, и у ней есть альбомъ,

въ который Хлестаковъ долженъ написать какіе-нибудь этакіе новенькіе «стишки». О, это ему ничего не стоитъ — онъ много знаетъ наизусть стиховъ, напр.: «О ты, что въ горести напрасно», и пр. И вотъ онъ на колѣняхъ передъ нею. Уйди она — онъ черезъ минуту забылъ-бы объ этой сценѣ, какъ совсѣмъ небывалой; но входитъ мать и толкаетъ его «просить руки» Марьи Антоновны. Онъ уѣзжаетъ въ полной увѣренности, что онъ — женихъ и что все сдѣлалось какъ должно; но извозчикъ крикнулъ, колокольчикъ залился — и Хлестаковъ готовъ спросить себя: «На чемъ, бишь, я остановился?»

Первые сцены пятаго акта представляютъ вамъ городничаго въ полнотѣ его грубаго блаженства животной натуры. Здѣсь поэтъ является глубокимъ анатомомъ души человѣческой, проникаетъ въ самые недоступные тайники ея и выводитъ наружу все крывшееся въ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ пятомъ актѣ городничій является въ своемъ апоѳеозѣ, полнымъ опредѣленіемъ своей сущности, вполнѣ опредѣлившейся возможностью: все темное, грязное, низкое и грубое, что крылось въ его природѣ, развивалось воспитаніемъ и обстоятельствами, все это всплыло со дна наверхъ, извнутри явилось наружу, и явилось такъ добродушно, такъ комически, что вы невольно смѣетесь тамъ, гдѣ-бы должны были ужасаться. «Что, говоритъ онъ женѣ, тебѣ и во снѣ не видѣлось: просто изъ какой-нибудь городничихи, и вдругъ... фу ты, канальство! Съ какимъ дьяволомъ породнились!» — «Какія мы съ тобою теперь птицы сдѣлались! А, Анна Андреевна! высокаго полета, чортъ побери!» Изъ труса онъ дѣлается нахаломъ, мѣщаниномъ, который вдругъ попалъ въ знатные люди: страхъ Сибири прошелъ — онъ уже не обѣщаетъ Богу пудовой свѣчи, и грозится еще жить и обирать купцовъ; велитъ кричать о своемъ счастьи всему городу, «валить въ колокола: коли торжество, такъ торжество, чортъ возьми!» его

дочь выходитъ замужъ за такого человѣка, «что и на свѣтѣ еще не было, что можетъ и прогнать всѣхъ въ городѣ, и въ тюрьму посадить, и все, что хочетъ». Боже мой! къ лицу-ли ему генеральство! А онъ въ неистовомъ восторгѣ, въ бѣшеной комической страсти отъ мысли, что будетъ генераломъ... «Вѣдь почему хочется быть генераломъ? потому что случится, поѣдешь куда-нибудь, фельдъегери и адьютанты поскачутъ вездѣ впередъ: лошадей! и тамъ, на станціяхъ, никому не дадутъ, все дожидается: всѣ эти титулярные, капитаны, городничіе, а ты себѣ и въ усъ не дуешь: обѣдаешь гдѣ-нибудь у губернатора, а тамъ: стой, городничій! Ха, ха, ха! Вотъ что̀, канальство, заманчиво!»

Такъ проявляются грубыя страсти животной натуры! Это страсть — и страсть бѣшеная: у нашего городничаго сверкаютъ глаза, въ голосѣ тонъ изступленія, движенія порывисты. Если не вѣрите — посмотрите на Щепкина въ этой роли. Въ комедіи есть свои страсти, источникъ которыхъ смѣшонъ, но результаты могутъ быть ужасны. По понятію нашего городничаго, быть генераломъ, значитъ видѣть предъ собою униженіе и подлость отъ низшихъ, гнести всѣхъ не-генераловъ своимъ чванствомъ и надменностью; отнять лошадей у человѣка нечиновнаго, или меньшаго чиномъ, но своей подорожной имѣющаго равное на нихъ право; говорить «братецъ» и «ты» тому, кто говоритъ ему «ваше превосходительство» и «вы»; и проч. Сдѣлайся нашъ городничій генераломъ — и когда онъ живетъ въ уѣздномъ городѣ, горе маленькому человѣку, если онъ, считая себя «неимѣющимъ чести быть знакомымъ съ г. генераломъ», не поклонится ему, или на балу не уступитъ мѣста, хотя-бы этотъ маленькій человѣкъ готовился быть великимъ человѣкомъ!... тогда изъ комедіи могла-бы выйти трагедія для «маленькаго человѣка»...

Приходъ купцовъ усиливаетъ волненіе грубыхъ страстей городничаго; изъ животной радости онъ переходитъ въ животную злобу. Сначала хочетъ говорить тихо, съ сосредоточенной яростью и злобною ироніею; но животная натура не даетъ ему выдержать этой роли: власть надъ собою принадлежитъ только образованнымъ людямъ; онъ постепенно приходитъ въ бо̀льшую и бо̀льшую ярость и разражается ругательствами. Онъ пересчитываетъ Абдулину свои благодѣянія, т.-е. напоминаетъ случаи, гдѣ они вмѣстѣ казну обкрадывали... Купцы являются тѣми-же купцами: они низко кланяются, низко подличаютъ. Великодушный городничій смягчается, но на условіи, чтобы «засусленныя бороды, аршинники, самоварники, протоканаліи и архибестіи» не думали «отбояриться отъ него какимъ-нибудь балычкомъ, или головою сахара», ибо-де «онъ выдаетъ дочку свою не за какого-нибудь дворянина»...

Начинаютъ собираться гости. Городничій снова въ своемъ пѣтушьемъ величіи. Передъ нимъ всѣ подличаютъ, какъ передъ знатною особою; поздравляютъ вслухъ съ «необыкновеннымъ благополучіемъ», и ругаютъ вполголоса. Городничиха, какъ и съ самаго начала пятаго акта, играетъ роль случайной дамы, которая, однако, нисколько не удивлена своимъ счастьемъ, какъ по праву принадлежащимъ ея достоинствамъ, и какъ давно привычнымъ имъ. Она показываетъ, что равнодушна къ нему. Но устарѣлая кокетка беретъ верхъ надъ знатною дамою: она почти оспариваетъ жениха у своей дочери. Входитъ простодушный почтмейстеръ и препаивно открываетъ всѣмъ глаза насчетъ мнимаго ревизора, доказавъ, очевидно, что онъ «и не уполномоченный, и не особа». Сцена чтенія письма Хлестакова — въ высшей степени комическая. Но что-же нашъ городничій? — Вы думаете, ему стыдно, мучительно-стыдно видѣть себя такъ жестоко одураченнымъ собственною ошибкою, такъ тяжко наказаннымъ за

свои грѣхи? Какъ-бы не такъ! Бездарность, посредственность или даже обыкновенный талантъ, тотчасъ-бы воспользовались случаемъ заставить городничаго раскаяться и исправиться; но талантъ необыкновенный глубже понимаетъ натуру вещей и творитъ не по своему произволу, а по закону разумной необходимости. Городничій пришелъ въ бѣшенство, что допустилъ обмануть себя мальчишкѣ, вертопраху, у котораго молоко на губахъ не обсохло, онъ, который «тридцать лѣтъ жилъ на службѣ», котораго «ни одинъ купецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ; пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣвалъ на уду; трехъ губернаторовъ обманулъ!» — Вы думаете, ему совѣстно, мучительно-совѣстно смотрѣть на тѣхъ людей, передъ которыми онъ сейчасъ только такъ ломался, которые унижались и подличали передъ его мнимою знатностью? Ничего не бывало! Когда дражайшая его половина обнаруживаетъ всю свою глупость наивнымъ вопросомъ: «Какъ-же?... вѣдь это не можетъ быть... онъ совсѣмъ вѣдь обручился съ нашей Машенькой?» — онъ не только не старается замять позорнаго для нихъ обоихъ объясненія, но еще съ досадою на ея недогадливость очень ясно толкуетъ ей, въ чемъ дѣло: «А развѣ ты не видишь, что у него все это фу — фу! Пустѣйшій человѣкъ, чортъ-бы побралъ его! Вотъ подлинно, если Богъ захочетъ наказать, такъ отниметъ разумъ. Ну что въ немъ было такого, чтобъ можно было принять за важнаго человѣка, иль вельможу? Пусть-бы онъ имѣлъ что-нибудь внушающее уваженіе, а то чортъ знаетъ что? Дрянь, сосулька! Тоньше сѣрной спички!» За симъ обманутые чудаки бросаются съ ругательствомъ на Петровъ Ивановичей, какъ первыхъ вѣстовщиковъ о пріѣздѣ ревизора. Брань сыплется на нихъ градомъ; они сваливаютъ вину другъ на друга, какъ вдругъ явленіе жан-

дарма съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прерываетъ эту комическую сцену и, какъ громъ, разразившійся у ихъ ногъ, заставляетъ ихъ окаменѣть отъ ужаса, и такимъ образомъ превосходно замыкаетъ собою цѣлость пьесы *).

*
* *

Въ ожиданіи выхода полнаго собранія сочиненій Гоголя скажемъ здѣсь нѣсколько словъ о характерахъ въ новой комедіи его «Женитьба». Подколесинъ — не просто вялый и нерѣшительный человѣкъ съ слабой волей, которымъ можетъ всякій управлять: его нерѣшительность преимущественно выказывается въ вопросѣ о женитьбѣ. Ему страхъ какъ хочется жениться, но приступить къ дѣлу онъ не въ силахъ. Пока вопросъ идетъ о намѣреніи, Подколесинъ рѣшителенъ до героизма; но чуть коснулось исполненія, — онъ труситъ. Это недугъ, который знакомъ слишкомъ многимъ людямъ, поумнѣе и пообразованнѣе Подколесина. Въ характерѣ Подколесина авторъ подмѣтилъ и выразилъ черту общую, слѣдовательно идею. Подколесинъ покоряется одному Кочкареву, потому что тотъ нахалъ, которому не уступить — значитъ рѣшиться на исторію, конечно не опасную, но зато неприличную, а одно стоитъ другого. Кочкаревъ — добрый и пустой малый, нахалъ и разбитная голова. Онъ скоро знакомится, скоро дружится и сейчасъ на *ты*. Горе тому, кто удостоится его дружбы! Кочкаревъ переставитъ у него по-своему мебель въ комнатѣ, да еще будетъ ругать, если тотъ не усердно будетъ помогать ему распоряжаться въ своемъ домѣ. Кочкаревъ навяжетъ другу своего портного, своего сапожника не потому, чтобъ убѣжденъ былъ въ ихъ превосходствѣ, а для того только, чтобъ сказать: «я рекомендовалъ». Кочкаревъ хочетъ, чтобъ все

*) Изъ статьи «Горе отъ ума», 1839 г.

шло и дѣлалось черезъ него, и чтобъ всѣ говорили: «этотъ человѣкъ на всѣ руки». Для этого онъ готовъ хлопотать, биться до пота лица, перенести, что̀ угодно. Другъ его собирается купить домъ: у Кочкарева ужъ есть на примѣтѣ домъ — отличнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ, именно такой, какой нуженъ его другу: онъ самъ, правду сказать, и не былъ въ этомъ домѣ, но готовъ сейчасъ-же расписать расположеніе его комнатъ, доказать его удобство, выгодность, побожиться за достоинство каждой половицы, каждаго стропила. Если другъ не захочетъ смотрѣть этого дома, онъ потащитъ его, будетъ упрашивать, умолять, а въ случаѣ рѣшительнаго отказа — разссорится съ другомъ по-своему: назоветъ его и «свиньей» и «подлецомъ». Первыя слова его свахѣ, которую засталъ онъ у Подколесина, были: «Ну, послушай, на кой чортъ ты меня женила?» Изъ этого видно уже, что женитьба не очень осчастливила его, и что не ему-бы хлопотать о женитьбѣ другихъ. Но не тутъ-то было: провѣдавъ о чужомъ дѣлѣ, онъ уже похожъ на гончую собаку, почуявшую зайца; чтобъ похлопотать, онъ описываетъ женитьбу самыми обольстительными красками, какія только можетъ ему дать его грубая фантазія. И потому, если актеръ, выполняющій роль Кочкарева, услышавъ о намѣреніи Подколесина жениться, сдѣлаетъ значительную мину, какъ человѣкъ, у котораго есть какая-то цѣль, — то онъ испортитъ всю роль съ самаго начала. Въ концѣ пьесы Кочкаревъ, взбѣсившись на Подколесина, самъ говоритъ: «Да если ужъ пошло на правду, то и я хорошъ. Ну, скажите пожалуйста, вотъ я на всѣхъ сошлюсь: ну, не олухъ-ли я, не глупъ-ли я? Изъ чего бьюсь, кричу, инда горло пересохло? Скажите, что̀ онъ мнѣ? родня, что-ли? И что̀ я ему такое — нянька, тетка, свекруха, кума, что-ли? Изъ какого-же дьявола, изъ чего я хлопочу о немъ, не знаю себѣ покою,

нелегкая прибрала-бы его совсѣмъ? — А просто чортъ знаетъ изъ чего! поди ты, спроси иной разъ человѣка, изъ чего онъ что-нибудь дѣлаетъ!» Въ этихъ словахъ вся тайна характера Кочкарева. — Жевакинъ — не кривляка, не шутъ; это старый селадонъ, а потому и щеголь, несмотря на свой старинный мундиръ. Куда-бы ни занесла его судьба — хоть въ Китай, не только въ Сицилію, — онъ вездѣ замѣтитъ одно только «розанчики этакіе». Кромѣ «розанчиковъ» для него ничто на свѣтѣ не существуетъ. — Анучкинъ — человѣкъ, живущій и бредящій однимъ — высшимъ обществомъ, котораго онъ никогда и во снѣ не видывалъ и съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго. Онъ почитаетъ себя образованнымъ человѣкомъ и, услышавъ о Сициліи, сейчасъ захотѣлъ узнать, говорятъ-ли тамъ «барышни» по французски. Барышни, французскій языкъ и обхожденіе высшаго общества, — въ этомъ для него и смыслъ жизни, и цѣль жизни, и кромѣ этого для него ничто не существуетъ. Много попадается Анучкиныхъ на бѣломъ свѣтѣ: они-то громче всѣхъ хлопаютъ актерамъ и вызываютъ ихъ; они-то восхищаются всякимъ плоскимъ и грубымъ двусмысліемъ въ водевилѣ и осуждаютъ пьесы за неприличный тонъ; они-то не любятъ ни на сценѣ, ни въ книгахъ людей низкаго званія и грубыхъ выраженій. Анучкинъ — въ высшей степени типическое лицо, для представленія котораго на театрѣ нужно много ума и таланта. Пятое дѣйствующее лицо — Яичница (экзекуторъ). Это — человѣкъ грубый, матеріальный; но онъ живетъ и служитъ въ Петербургѣ — стало-быть, не похожъ на провинціальнаго медвѣдя. Вообще для хорошаго выполненія ролей, созданныхъ Гоголемъ, актерамъ всего нужнѣе наивность, отсутствіе всякаго желанія и усилія смѣшить. Если человѣкъ имѣетъ смѣшную или слабую сторону, онъ тѣмъ и возбуждаетъ смѣхъ, что не предполагаетъ въ себѣ ничего смѣшного или страннаго. Въ обще-

ствѣ никто не станетъ стараться смѣшить другихъ на свой счетъ, а сцена должна быть зеркаломъ общества...

Лицо свахи въ «Женитьбѣ» — одно изъ самыхъ живыхъ и типическихъ созданій Гоголя. Бойкость, яркость движеній, трещоточный разговоръ должны быть прежде всего схвачены актрисой, выполняющей эту роль; малѣйшая вялость, тяжеловатость сейчасъ испортятъ дѣло. Это баба, наметавшаяся въ своемъ ремеслѣ; ея не разстроитъ никакое обстоятельство, не смутитъ никакое возраженіе; у нея готовъ отвѣтъ на всякій вопросъ. Невѣста спрашиваетъ сваху про одного изъ жениховъ, не пьетъ-ли онъ. «А пьетъ, не прекословлю, пьетъ! Что-же дѣлать? ужъ онъ титулярный совѣтникъ, зато такой тихій, какъ шолкъ», отвѣчаетъ сваха и, въ утѣшеніе, прибавляетъ: «Впрочемъ, что-жъ такого, что иной разъ выпьетъ лишнее? Вѣдь не всю-же недѣлю бываетъ пьянъ — иной день выберется и трезвый». Про другого она говоритъ: «Немножко заикается, зато ужъ такой скромный».

Сколько юмора, какой языкъ, какіе характеры, какая типическая вѣрность натурѣ! Но, увы, словно нетопыри прекраснымъ зданіемъ, овладѣли нашей сценой пошлыя комедіи съ пряничной любовью и неизбѣжной свадьбой! Это называется у насъ «сюжетомъ». Смотря на наши комедіи и водевили и принимая ихъ за выраженіе дѣйствительности, вы подумаете, что наше общество только и занимается, что любовью, только и живетъ и дышетъ, что ею! И какой любовью — безкорыстной, безъ всякаго разсчета на приданое, на связи и покровительство!...*).

КОНЕЦЪ.

---

*) Изъ статьи «Русскій театръ въ С.-Петербургѣ».



УКАЗАТЕЛЬ.

Классныя изданія Всеобщей Библіотеки:

В. Г. Бѣлинскій. Избранныя сочиненія. I. О поэзіи. Съ портр. автора. № 91.—10 коп.

В. Г. Бѣлинскій. Избранныя сочиненія. II. Русская литература отъ Ломоносова и Пушкина. № 92.—10 к.

В. Г. Бѣлинскій. Избранныя сочиненія. III. А. С. Пушкинъ. № 93, 94.—20 коп.

В. Г. Бѣлинскій. Избранныя сочиненія. IV. Н. В. Гоголь. № 95.—10 коп.

В. Г. Бѣлинскій. Избранныя сочиненія. V. М. Ю. Лермонтовъ. № 96, 97.—20 коп.

В. Г. Бѣлинскій. Избранныя сочиненія. VI. Новая русская литература. № 98.—10 коп.

Всѣ выпуски въ одномъ переплетѣ 90 коп.

1. 3. **Проф. Т. Грановскій.** Четыре характеристики: Тимуръ, Александръ Великій, Людовикъ IX, Бэконъ. Съ портр. автора. № 1.—10 коп.

3. **Н. Гоголь.** Ревизоръ (съ иллюстр.). № 53.—10 коп.

1. **А. Грибоѣдовъ.** Горе отъ ума. Съ портр. автора. № 2.—10 коп.

А. Кольцовъ. Избранныя стихотворенія съ портретомъ, біографіей и обзоромъ критич. литературы. № 83.—10 коп.

М. Лермонтовъ. Стихотворенія. № 57.—10 коп.

М. Лермонтовъ. Поэмы. № 58, 59.—20 коп.

М. Лермонтовъ. Герой нашего времени. № 60—61.—20 коп.

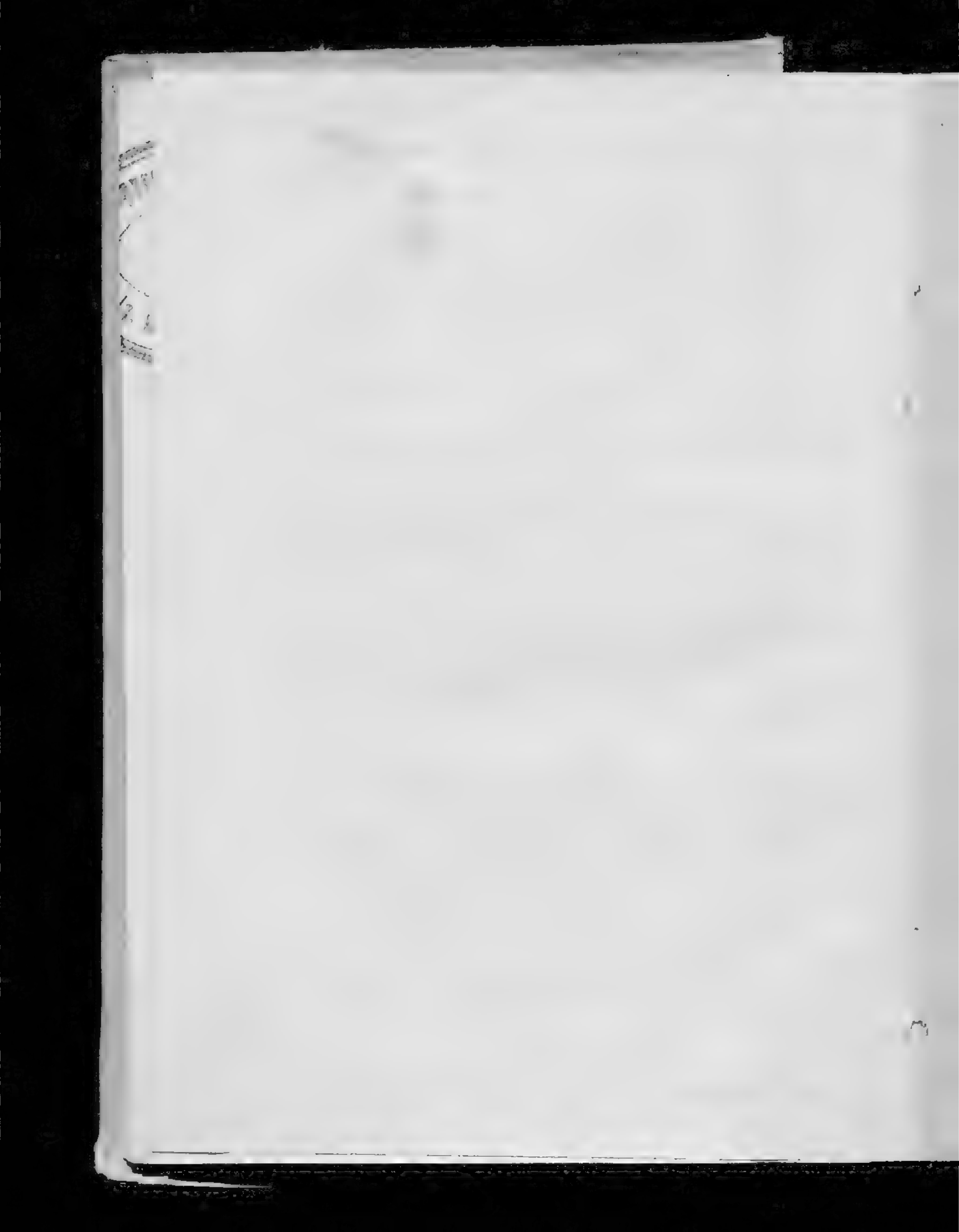
М. Лермонтовъ. Маскарадъ. № 62.—10 коп.

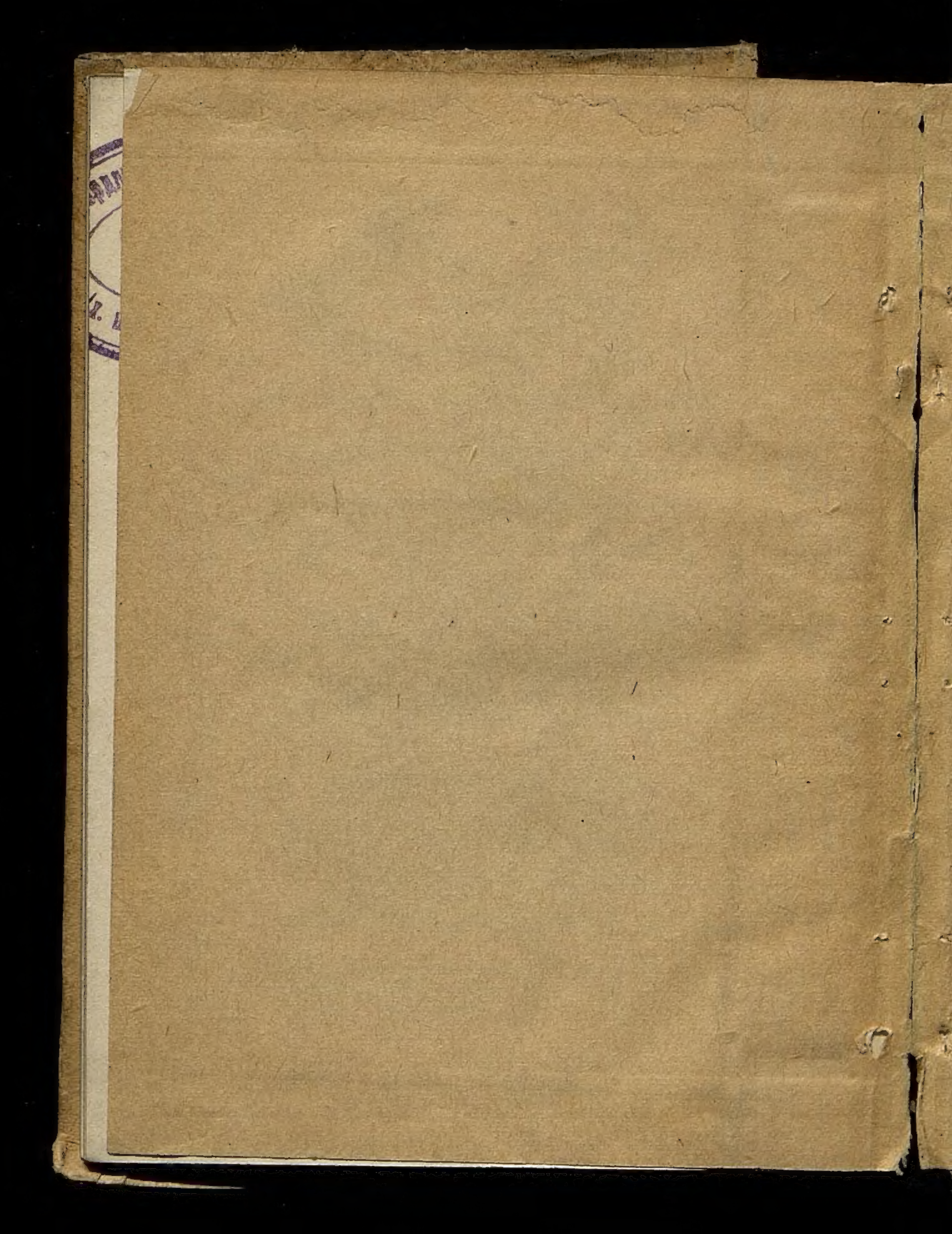
Всѣ выпуски въ одномъ переплетѣ 70 коп.

Слово о полку Игоревѣ. Текстъ, переводы, критич. литература. *(М. Н. Пр. допущено какъ учебное пособіе).* № 37.—10 коп., ***въ мягкомъ пер. 20 к.***

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Н. А. Добролюбовъ. Избранныя сочиненія.





[illegible]

[illegible]

[illegible]

Цѣна 2 р.

СКЛАДЫ ИЗДАНІЯ:

тральное Товарищество „КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО"

Петроградъ, Стремянная 6, тел. 86-20.

Москва, Б. Дмитровка 26, тел. 4-49-80.